

2

2

ТВЕРДЫЙ ЗНАКЪ

Твердый
знак

Т

Журнал-альманах

**Твердый
знакЪ**

2

"Твердый знак"
1992

© **ТВЕРДЫЙ ЗНАКЪ, 1992**

РЕДАКЦИЯ:

Сергей Ташевский - ответственный секретарь

Максим Шевченко - отдел поэзии

Надежда Кеворкова - отдел прозы

Андрей Полонский - гуманитарный раздел

В номере использованы рисунки *Вики Тимофеевой*

Оригинал-макет настоящего номера подготовлен средствами настольной типографии интегрированной системы ИСОДИ

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Максим ШЕВЧЕНКО</i>	1
Памяти Великого Поста 1990 - 1991 года. Стихи	
<i>Алексей ФЕЛИСТАК</i>	10
Рассказы	
<i>Андрей ПОЛОНСКИЙ</i>	24
Венок сонетов. Стихи	
<i>Сергей ТАШЕВСКИЙ</i>	32
Разговор. Стихи	
<i>Андрей ВОРОНИН</i>	40
Арка над лесом. Рассказ	
<i>Аркадий СЛАВОРОСОВ</i>	60
Стихи	
<i>Сергей ЕРЬШЕВ</i>	63
Стихи	
<i>Тахар БЕНЖЕЛЛУН</i>	68
Миндальные деревья гибнут от ран. Проза и стихи	
Предисловие и перевод С.Никольского	
<i>Алексей СОСНА</i>	99
Стихотворение	
<i>Игорь СХОЛЛЬ</i>	100
Стихи	

ГУМАНИТАРНЫЙ ОТДЕЛ

<i>Андрей ПОЛОНСКИЙ</i>	106
Вольность: бунт бессмысленный и беспощадный	
<i>Вероника МУРАШЕВА</i>	123
Очерк истории русского освободительного движения	
<i>А.НЕРЛИН</i>	129
Русское освободительное движение: корни и крона	
Раритеты Твердого знака	
<i>Архиепископ Иоанн (Шаховской)</i>	137
Революция Толстого	
Философия контр-культуры или Антология западной рок-поэзии	
<i>Боб ДИЛАН</i>	151
Предисловие Д.Брайсхет и А.Яковлева	
Хроника	
<i>Сергей ТАШЕВСКИЙ</i>	181
О чужих мыслях и собственном опыте	
Театрик для сумасшедших	
<i>Умма-Гумма</i>	183



Максим ШЕВЧЕНКО

Из Памяти Великого Поста 1990 - 1991 года

Базар безумие бедлам
Бессоница
По вечерам
Без плоти
Белые пески
Пересыпаются в виски
Из времени
Вскипает вновь
Во мне моя чужая кровь
Ведь я из рыб
И с губ моих
Срывается холодный стих.

* *
*

Отмерена мера, и ноги нашли стремяна.
По тощей земле, что на ощупь изрядно жирна,
По серому небу, по россыпям мертвых глаз,
По толпам чужих, восстающих живыми в нас.

За болью такую почти не заметно зла.
В них сущность вороны, хоть когти и клюв орла.
Как мир их непрочен, хоть верно, что штиль высок.
И кровь Твоя, Отче, для них виноградный сок.

Прости мне кощунство, я знаю, я слаб в любви.
Я - рыба в сетях Твоих, Ты мне сказал: "Плыви!"
Я - рыба! Я - рыба! Вода, твоя смерть сладка!
Я выбыл из мрака, хоть свет не узнал пока.

* *
*

Пусть в печальном понимании греха
Ожидание трех криков петуха,
Да еще какой-то приступ городской
То ли Азии, толь астмы вековой.

По таким то мы томились пустякам!
По помойкам, по руинам, по стихам
Потаскались, износили в пух и прах
То ли души, то ли дюжину рубак.

Потому то не укрыться, не уйти
От того, кто лишь чуть менее в чести,
Чем нависшее над городом немым,
То ли небо, то ли мечущийся дым.

* *
*

Напевая какой-то дурной мотив,
По течению речи себя пустив,
Я внезапно увидел, что пьян от боли,
От желанья только с одной тобою,

До последней клетки озябшей кожи,
И до губ, твердящих одно и то же.

Как понять, что рассвет наделен закатом,
Так поверить, что мне суждено лишь братом,
Суждено лишь братом, а чаще сыном,
Или просто пернатым в обличье львином.

Я не помню как и не помню сколько.
Пусть цена пятак, пусть награда - койка.
Но в петле времен, на суку созвездий,
Нам висеть вдвоем и качаться вместе.

* *
*

Сегодня снег превратился в слякоть.
Ты хочешь пить или хочешь плакать?

Ты плачешь... Значит вольно дурному
Кому-то погнавшему нас из дому.

Истома гибели в нашем счастье.
На что сослаться еще в ненастье?

Из рваных туч моросит коряво
Не то, чтоб манна, а так, халява.

Три сонета под общим названием

"Переплывая Байкал"

1

Вода ворует свет и расстояние,
Движениям становится тесней,
Чтоб избежать смятения теней,
Я исчезаю в темном одеянии.

И сразу мир становится пьяней,
Печаль отчетливее, время постоянной,
И память принимает очертанья
На запад - умерших, к востоку - вставших дней.

В такое время надо бы молчать
Кому какое в чем предназначенье.
Искуплена адамова печать,
И мы идем, используя течение,
Желая кончить, но боясь начать,
Дабы не ставить точку в заключенье.

2

Вода ворует свет и расстояние.
Нам не успеть до полной темноты
Достигнуть той пылающей черты,
За коей претворяются преданья

О Будде Амитабхе, чьи цветы
Из золота, убившего желанья.
Он вышел в свет, он победил страданья,
Хоть и под знаком вечной пустоты.

А нам куда? Мы - узники Христа.
Рабы свободы, остаемся в ней.
Пусть нашим миром правит теснота,
Не предадим обители своей,
Хоть дышится с трудом, и иногда
Движениям становится тесней.

3

Движениям становится тесней
У края пропасти, у самого ночлега,
Судьба уничтожает человека,
Когда он устремляется за ней.

Жизнь больно бьет, но смерть еще больней.
В концлагерях последней трети века
Жить хорошо, пространство для побега -
Огромный мир, без окон и дверей.

Блаженные кедровые леса,
♦ Над вами ночь! Созвездия огней
Еще не превратились в голоса
И песни бедной родины моей,
Прижавшейся покорно к небесам,
♦ Чтоб избежать смятения теней.

* *
*

Начинается разлука,
Каждый болен сам собой.
Лучник птицу бьет из лука,
Волхв занялся ворожкой,

Всадник скачет, смерть смеется,
Поднимает ангел меч.
Отражаясь в тьме колодца,
Начинает небо течь.

Человека манит в дали,
Вечно кажется "вот-вот".
Из гостиных, кухонь, спален
Начинается поход.

Цвет разлуки темно-синий...
Малый спит, большой погиб.
На ладонях новых линий
Начинается изгиб.

Свет-разлука, смех-разлука.
Боль как снег. Какое зло?
Ты кричишь - в ответ ни звука,
Все по крыши занесло.

* *
*

Мир замыкается на себе.
На песке продолжают расти дома.
Те, кто не с нами, мудрее нас.
Искры звезд подождгли закат.

Вровень с тобой только тишь да гладь.
Вырасти вдоволь домашних благ.
Из отбывающих встанет полк,
Вечно идущий на твой парад.

Но пусть на брусчатке танцует тень!
В тесное лоно толпы чужой

Вряд ли войти тебе. Это сон.
Двадцать веков потекут назад.

В землю, где маленькая сестра
Скажет тебе:
"Вот и все, малыш!"
Скажет тебе:
"Вот и все, смотри,
Мы возвратились в наш тихий сад!"

* *

*

Видишь, поднимается луна,
Теменью небес напоена,
И уныло пишет эпилог
Повести растерянных эпох.

Да, таков итог земных забот!
Ночь приходит, ждут ее приход
Силы те, которые в глуши
Точат жала, как карандаши.

Им не ведом ход земных путей.
Их глаза бумажные желтей
Желтых гепатитовых белков
С запада летящих облаков.

А под утро поднимают вой
О лишеньи визы гостевой
Всех, не оставляющих следов
На камнях их черных городов.

*' *

*

Я хотел было вместе с тобою сойти на нет,
Как безумный мел, исписавший ночной покров
Городов, над которыми солнце теряет свет,
Выбирая из мертвого крика крупницы слов.

Я хотел быть с тобой, но я понял, что ты права,
Что счастливый исход - это воткнутый в спину нож,

В этом мире, где жизнь разбивается на слова
Те, что в сон погружают, и те, что вгоняют в дрожь.

* *
*

Тишина - слепая глупая собака
Раздерет тебя на части, дурака,
Проходящего по краю поля мрака
Из ближайшего к дороге сосняка.

Что за горе эти ночи, что за горечь!
Что ни полночь, то больная голова.
Не заполнишь одиночество - заперешь,
Подбирая подходящие слова.

Если выпустить на волю наши души,
Может лучше станет в мире, может суше?
От мокроты не пройти, не продохнуть.

Только путь ведет к трамвайной остановке,
На которой кто-то судорожно ловкий
Два звонка внезапно всадит тебе в грудь.

* *
*

Тысячелетний ствол
Украсим свежей листвой!
Месяц встал на прикол
Над застывшей Москвой.
Точно вымерший лес,
Точно голые дети зимы,
В азиатский разрез
Погружаемся медленно мы.

Нам бы неба глотнуть -
Больно пресен небесный кусок.
Собирайся и в путь!
Даже если полет невысок,
Ты раскинь свои крылья.
Ах, что за дурацкая спесь
Умирать от бессилья

Сказать,
Когда хочется спеть.

Потому то тебе
Никогда ничего и ни в ком.
На потеху судьбе
Ты с судьбою своею знаком,
До скончанья веков,
Под началом различных светил,
В омут смерти влеком
Всей любовью,
Что ты упустил.

Колыбельная желанья

Нине

Я хочу, ты хочешь, он-она хочет.
Различные желанья господствуют ночью.
Кто-то хочет спать, а кто-то напротив
Затекает игры проснувшейся плоти.

Все эти напевы не стоят ни мига
Твоего ночного счастливого крика.
Птицы за окном замолкают от злости,
Их не пригласили в полночные гости.

Ладно, мы уйдем, но кому-то ведь надо
Это мельтешение рая и ада?
Я не знаю точно, ты тоже, должно бы,
Мы с тобой не самой изысканной пробы.

Очередь за хлебом, за телом, за светом.
Хорошо бы нам не участвовать в этом.
Как ты? Я, пожалуй, довольно неплохо,
Только в голове иногда суматоха.

Вот мы и уснули. Нам "баюшки-баю"
Напевает ветер, в листве утопая,
И кружась ложится на сонные лица
Пепел сумасшедшей российской столицы.

* *
*

Поздно ночью скрип дверной.
Наслаждаться тишиной
Нам не велено. Мы дома.
В этом мире все знакомо,
Но ломает в мир иной.

У красавицы забота -
Вечно в гости ждет кого-то.
Прихожу... Да не меня!
На лице такая скука.
Ухожу домой без звука,
Чувство вечности цена.

В этом городе прохлады
Не найти. Так нам и надо!
Под злорадные смешки
Правда вырвется на волю,
Но пристрастье к алкоголю
Превратит ее в стишки.

Такова поэта участь:
Все описывать, измучась,
Всех любить до тошноты.
Чтоб в последний час расплаты
Превратиться в адвоката
Человеческой тщеты.

Алексей ФЕЛИСТАК

СПЛИН

Гигантских размеров кошка смахнула блюдце с моего стола. Четче некуда - брызги фарфора по комнате. Вышла собака, оставляя маленькие, красные следы лап на паркете. Поскуливает жалобно. Жалуется. Кошка удовлетворенно жмурится на подоконнике. Я подметаю пол. Звонит телефон. Вызывает Дежнев. Черт с ним, пусть вызывает. Телефон настойчив, и я отвечаю.

Да - я, кто еще?!

Пол подметаю.

Не ожидал. Конечно рад.

Вроде - ничего.

Совсем ничего.

Собака лапу порезала. Нет, ничего страшного.

Приезжаешь? Ладно встречу.

Ага. Счастливо.

Пока.

Где же совок? Где же он? На кухне бардак. Не путайся под ногами. Пошла на место! Кошка сволочь, блюдце разбила. Вот он. Да, не путайся ты под ногами. Ведро полное, выносить надо. Дождик на улице.

Черный, иди сюда, показывай лапы. Не дергайся. Вот молодец.

Ну, маленькая, спокойно, девочка, спокойно. Молодец.

Чем бы заняться? На кухне бардак... Глупый чайник - не закипает. Все равно, заварки нет. Газовые плиты - величайшее изобретение человечества, но их надо мыть. Выключаю огонь под чайником - все равно, заварки нет. Отчего же так скучно. В комнате.

Чертовое покрывало сползло с дивана. Поправляю. Ложусь...

Где бы раздобыть заварки? Бордовый телефон...

Зараза, в прошлый раз ты точно так же позвонила и опоздала на сутки и те цветы, что я тебе купил - завяли. Больше не буду покупать тебе цветов.

Я по-дурачки с ними выгляжу. Те цветы успокоились в мусорном ведре, как и моя жизнь в коммунальных дрызгах. Мособщепит - изощренное издевательство. Отсюда отсутствие аппетита и морщины в уголках рта. Брезгливость - тягчайший порок...

Кошка куда-то испарилась. Опять. Странная кошка - то она



есть, то ее нет. Вот здесь, на подоконнике она сидела, еще тепло осталось и блюдце с молоком не тронуто. Черный, иди полакомись.

Дура, хвост отвалится. Ну, все разбрызгала. Теперь подлизывай. Не вертись, ты! Я тебя люблю, конечно, но... Не смогу тебя удовлетворить. Мы несколько разные... Люди. Ах, собака, человек ты непорочный, тяжкая тебе доля досталась - характер мой терпеть. Ты уж прости меня...

У стула скоро спинка отвалится - тогда и прибью. Куда спешить? Чего сопишь? Уснула, что ли? И долго ты собираешься спать? Скоро гулять пойдем в строгом ошейнике. А как же ты думала? Тебе все волю подавай - будешь блох домой таскать. Да пошла, ты! Вон, посмотри какие девочки за окнами гуляют. Кошку не тронь, а то опять исчезнет. Спугнула, тварь безмозглая. Не дам тебе сегодня мяса - одной овсянкой будешь питаться и водой. И не скули. Надоела.

Нина, я тебя люблю. Твоя музыка... Магнитофон пленку жует, подлец. Надо писать, как поет Нина Хаген. Но магнитофон - подлец. Опять - кошка...

У, ты, маленькая, пушистая...

Новая жизнь - ню лайф. Где же заварки взять?.. Дело к вечеру идет, Нина Хаген все поет. Как у Нины явно не получается. Ой, какой у нее зонтик, ну наглухо. В магазин за молоком пошла. Глупо. Глупо, конечно, молоко пить. Дождь. Как все надоело... Творческий простой. Простой. Сплошные упражнения. Занятия... Кризис. Караул! Мама, зачем ты меня родила?..

Но, надо бы вымыть окна...

Так, значит, а с похмелья надо пить цитрамон...

И не забыть бы во сколько поезд приходит, привозит серые, внимательные глаза. Глаза, которые спрашивают...

Оказывается, за хлебом ходила. Зонтик наглухо...

Губы, которые говорят, что жить - скучно. Ну, что же, что скучно? Каждый человек - кузнец своего счастья. Я бы помог тебе ковать его, но я не знаю, что нужно тебе. Что тебе нужно...

Отстань, собака!..

Какая ты сейчас - та, что спрашивала - как дальше жить? Год ты после этого протянула. Значит ничего - не так остро вопрос стоит. Я мог бы сказать, что учиться надо, карьеру делать... Мог бы... Да я и сам в бедственном положении.

Ну, что ты звенишь, гадкий телефон?

Ага... Ну... Здорово... Заварки нет?.. Заходи.

Ну, так как же, дальше жить? Иначе-то - не умеем. Что делать? Мне ли подобные вопросы задавать? И мемуаров толковых не выйдет - так - пара страничек анекдотов. Откуда ж ответ знать? Не - советы, а - ответ.

Кис, кис, кис...

Вообщем, полный стакан бутербродов. Неразбериха...

Каждый человек - собственность государства. Либо это ложь, либо хозяин у меня не особо рачительный, раз не использует меня... Как там?.. По способностям. Выявить способности и культивировать их, развивать... Ясное дело, таких как я в отечестве много, но у моего классного руководителя в школе, учителя, нас было всего сорок. И был он нашим Учителем в течение нескольких лет... Какого черта, в школу таких дур пускают?! За версту не подпустил бы... Не, ну, конечно, из сорока только парочка таких, как я и наберется. Так, ведь, из одного выпуска... Не напрасно она хлеб ела! Это - вредительство, подрыв экономики. Посчитать можно: из выпуска, в среднем, два лоботряса. За двадцать пять лет - десять. Десять не приносящих пользы людей, а если от них еще и вред? А сколько таких Учителей?..

Да, черная, лапочка, девочка моя маленькая, скоро пойдем, но на строгом...

Просто удивительно, как разъяренные родители не разнесли наши школы и не поубивали учителей. Впрочем, школа обвиняет родителей и делает это более мастерски, нежели родители, когда обвиняют школу. Убедительней. Менее эмоционально, более рассудительно обвиняет наша школа.

Спрашивала ты меня, как жизнь свою скрасить, какое занятие найти, спасение... С надеждой на меня смотрела... Дура, я же жертва последователей Макаренко, его последышей. Жертва конвейера, штамповки - брак. Урод. Чего ради едешь сюда? Зачем? На что надеешься? Что, за этот год я нашел ответ? Да теперь его и за всю жизнь не сыскать...

Прочь, черный, надоела!

Не расхлебать, не раскопать среди мусора и дерьма! На свалку! Долой! Хлам!

Если только ты посмеешь задавать мне глупые вопросы!..

Черный, ко мне, пошли гулять!..

Не вертись, ты!.. Что же дерганая-то такая... Хотя, каков хозяин...

Сколько в тебе любопытства, лапочка. Не тяни, иди рядом. На площадку идем. Радуйся. Как мало собаке надо! Рядом!..

Когда не много толку от человека, что с ним делать? А когда вовсе толку нет? Ну не пристроил он своего тела в обществе...

Иди гуляй...

Кошка, ты с нами решила погулять? Не боишься - здесь собаки? Посидишь на дереве... Ну-ну... Домой придем, молока дам... И рыбы... Минтая свежемороженого... Только блюдец больше не бей...

Спички тухнут. Сигареты мерзкие. Еще один способ самоубийства. Непруха. Наглухо...

Черный, далась тебе эта кошка! Оставь ее в покое... Гуляй... Скоро домой пойдём - дождик. Тебе ничего, шерсть короткая, а на мне пиджак - до утра высохнет...

Ладно, пошли домой. Рядом, маленькая...

Нету-ли корреспонденции. Посмотрим. Вызов в диспансер на Пушки. Так, у них - работа, а для меня - нервотрепка. Но не надо тогда болтать о социальной адаптации. И вообще, болтать не надо... Как у вас с прошлым?.. Как настроение? Кого это интересует? Кого? Меньше всего вас! И будто-бы я вам, именно вам бы доверился, что с прошлым по-прежнему. То есть, додик такой, сразу все как на духу и выложил бы. Но не стану лишать работы, зайду. Пусть ваши детишки белый хлеб с маслицем кушают, благодаря тому, что существуют вот такие вот, как я... И записка... Что за записка?.. Ага! "Заходил, приносил чай, позвони". Краткость - сестра таланта, точность - вежливость королей. Сам виноват - я честно ждал. А позвонить не трудно, но, что делать без чая?

Заходи, черный, лапы вытирай и на место...

Картошка подорожала. В результате каких-таких катаклизмов подорожала картошка? Охотней чистить ее стали?..

На место, черный!

Гречка пропала уже давно...

Может от того, что все хуже и хуже учат и воспитывают нас в школах?

Есть такая профессия - воспитатель... Или уже нет?..

Кошка, ты здесь? На молока. Рыба позже будет, когда растает. Я ее под горячую воду положил... Мурлычешь. Господи, до чего же ты хорошая, но и самостоятельная - жуть...

Требуется воспитатель...

Требуется воспитатель в семью с недоразвитым ребенком. Да любой ребенок - недоразвитый. Некоторые так и умирают...

И где критерий?...

На, рыбу. Ух, как ты урчишь. Хищник. Тигр. Был бы я ма-

ленький, ты бы меня не задумываясь съела. А так - ласковая, хрупкая, изящная. Хребет бы перегрызла, крови бы моей напилась и сидела бы умывалась. Как трогательно. Мой пушистый, маленький, несостоявшийся убийца...

Когда надо было о теле думать - думал о душе, а когда о душе - задумался о теле. И получился - голый король... Почему кошки такие маленькие? Зачем такая жизнь?..

Приедешь, буду тебя по Москве водить, как и прежде, буду любившиеся места показывать, улочки. Такие мы будем забавные, беспечные... Внешне счастливые... А что внутри будет твориться!... И вечером, сидя на диване, мы будем ругать несостоявшуюся жизнь, плакаться друг другу, лицемерить. Прошрое-то нам нравится, гордимся мы им, просто оно нам будущего не оставило и это нас удручает. Но мы будем пить чай и, старые, умудренные, будем вспоминать...

Черный, отстань! Пошла на место!

Что же еще нам остается делать? И, вспоминая, мы будем счастливы. Мы забудемся...

А потом ты поедешь назад в свой Дежнев скучать, а я останусь здесь - скучать...

Опять блюдце разбила! Кошка, а бьешь блюдца...

Но приезжала бы ты уж скорее...

13.05.87 г.

ПТИЦА

В распахнутую форточку влетела огромная птица, шурша крыльями о фрамугу.

Кося глазами, она, вся черная, взъерошенная, когтя лапами по паркету, ходила по комнатам...

Ты моя судьба?

Такая вся черная, неказистая, гордая в своем убожестве.

Что тебе надо? Зачем ты?

Чем ты живешь?

Мечтами?!

Мечтами о прошлом, настоящем, будущем?

Прочь!

Мой образ, подобие, зеркало...

Я увидел безобразный клюв и глаза, налитые кровью.

Я разбил зеркало и вошел в него. Думал, уйду от самого себя, но вслед за мной, по песчаной дорожке, волоча крылья, скрежетала когтями, распугивая утреннюю тишину, безобразная птица.

За поворотом покачивалось радужное облако. И я скрылся в нем. Меня охватили, объяли кошмары далекого прошлого. Ша-рахаясь от одного мрачного зрелища к другому, я обезумел совсем. И мечтал о солнце и небе. Мечтал о недоступном.

Птица уже сидя на моем плече чистила свои и без того редкие перья. Окружающее не тревожило ее, было безразлично ей. Я присел на островок зеленой травы и пожаловался птице на свою жизнь. Но она продолжала чистить перья. Прочь, птица! Мне не услышать от тебя сочувствия! Поди прочь, птица.

И она исчезла, покинула меня, моя взъерошенная судьба, гадкая, неуклюжая...

Без нее я, со временем, научился пить кровь из своих потрепанных ран. Научился пить кровь других. Я более не чурался призраков.

У всех у нас отсутствовало то, чего нам так недоставало - отсутствовала судьба.

Я не стал подметать с полу перьев покинувшей меня птицы и по вечерам, когда под окнами начинали орать кошки, вспоминал о ней.

Все мы были одиноки и лаялись, как собаки на пустыре. Мы выли от одиночества, мы были готовы глотки перегрызть друг другу. Мы ненавидели себя за беспомощность, за убожество.

Я плакал, зарываясь головой в подушку. Я звал ее, просил вернуться...

Мне все обрыдло.

Зима. Зима вслед за летом, вслед за разбитым зеркалом и песчаными дорожками. Одиночество среди людей. Поиски Истины. Спокойствия. Утрата всего. Скотское состояние. Хищное. Дикое. Отсутствие самых элементарных, примитивных эмоций. Безумие...

И вдруг я встречаю птицу взъерошенную, потрепанную, ну в ноль, как та - покинувшая меня в тот далекий, глупый день. Милая птица моя неуютная, радость моя, скорбь моя, жизнь моя, моя Любовь. Как же я стосковался по тебе! Это не ошибка? Ты вернулась ко мне? Правда?

Судьбинушка горькая, большая, никогда не погоню тебя прочь, как сделал это в тот ненастный день. Не повторю ошибки. Не оставяй меня.

Птица чистила крылья на моем плече. Ей все было безразлично...

Где же ты пропадала, боль моя?

И вновь разбитое зеркало и дорожки и туман и неопрятная птица на плече. Судьба моя, мое счастье, кровь моя...

В детстве, я знаю, птица моя была не столь неказиста на вид. Но время потрепало ее и вместе с ней теряю волосы и зубы я. Она моя единственная радость. Я не могу ею делиться с другими. И я заперся с нею. Она скучает.

Что могу я сделать для тебя?

Чем развлечь могу?

Что молчишь, гадина?

Я же не знаю, что нужно тебе.

Я все потерял. Все. Я не хочу потерять последнее, что есть у меня - тебя. Не молчи!

Мука моя, ответь. Разгладь морщины в уголках глаз. Ну же!..

КНИГА ЖИЗНИ

На Стаськины похороны пришло много народу, почти все его друзья. Постояли молча у свежей могилы и так же молча разошлись. Часть из них поехала на поминки, где седая, маленькая мать просила не стесняться, просила веселиться, чтобы порадовать Стасика... Но и водка и вино остались почти нетронутыми.

Шел дождь и была слякоть. Ночь. Стаська хотел просто прогуляться, но поскользнулся на откосе и скатился прямо под колеса скорого поезда.

Все говорили, что его смерть нелепа, что погибнуть в 23 года глупо. И против этого нечего возразить, кроме того, что смерть никого не щадит, и так распорядилась жизнь.

После Стаськи остались его картины. Была устроена выставка у него дома и был даже небольшой успех, которого так не хватает при жизни. И была там картина, на которой Стаська изобразил лесную поляну, а на ней - он сам, сидя на корточках, читал книгу. Картина называлась "Книга жизни".

Стаська любил простор, и поэтому было странно, почему он решил читать книгу на тесной лесной поляне, и отчего на ней так душно. Это был единственный автопортрет Стаськи, и мать, глядя на него, плакала, а суровые гости даже не пытались ее утешить - горе матери...

Стаська не дочитал своей книги. Она захлопнулась на середине.

Был он плохим сыном. Хлопотным. Был беззаботен, доставляя кучу неприятностей.

Первый раз он ушел из дому в двенадцать лет, но тогда его

быстро нашли. Впоследствии привлекать милицию к его поискам стало просто неудобно, и он пропадал по несколько месяцев, а затем появлялся дома осунувшийся и усталый. И что-нибудь рисовал.

Ясно одно - Стаська любил жизнь и смерть его не была результатом самоубийства. Это просто случайность, нелепая случайность.

Но если бы Стаська прожил еще несколько лет и познал бы горечь поражений и разочарования, то его гибель стала бы более обоснованной?

Он читал свою Книгу жизни торопливо, перескакивая через страницы, сути он не успел уловить и многое осталось им непонятно. Все, кто слышал, как Стаська читает Книгу, утверждают, что читал он громко, с выражением, но и с чрезмерной аффектацией. Читая, Стаська любил приврать, приукрасить, и так мастерски он это делал, что многие ему верили.

Стаська не умел ладить с людьми и было непонятно, откуда у него столько друзей. Возможно от того, что ни с кем из них он не общался дольше трех дней.

Он врывался в чью-нибудь жизнь, громко хлопая дверьми, метался по комнатам, размахивая руками, что-нибудь оживленно рассказывал, съедал все, что было в холодильнике, взъерошенный засыпал в кресле, а на утро исчезал, оставив нелепую записку, что ему надо спешить, его ждут и что жизнь не терпит, что на Бронной - пожар, и ему надо спасать из огня ребенка, а на Суворовском умирают от голода и ждут денег, а если не денег, то хотя бы макарон, которые он и уносил с собой.

Он был невыносим.

Но его прощали и любили.

Облепиха - единственная женщина, которая смогла по-настоящему полюбить Стаську, а не как многие другие просто увлечься, утверждает, что никто не знал настоящего Стаську и никто не хотел знать. Но, может, она просто ослеплена любовью и горем?

Три года назад Стаська, обзавев ее дурой, посадил в такси и увез от хамоватого мужа, а, затем, бегал с ней, оформляя развод. Нет, они не стали жить вместе - Стаська не был пригоден для семейной жизни. Но их редкие, короткие встречи были настоящим праздником для обоих.

О, Облепиха жила этими встречами. Расцветала, когда Стаська приезжал, кричала из ванной: "Подожди, подожди - я сейчас!"; легко красилась, душилась, надевала свой лучший наряд и они,

воздушные, бежали в ближайший ресторан, где их уже хорошо знали. Они пили шампанское и водку и танцевали, такие странные и непонятные. Потрепанный, нечесанный Стаська и Облепиха - тонкая, изящная и очень женственная, вызывали недоуменные улыбки на лицах немногочисленных посетителей.

Но на следующей утро Облепиха, суетливо и со скандалом, приводила кое-как в порядок и самого Стаську, который шумел, что они опаздывают, что жизнь уходит, что и так сгодится...

Они ходили по выставкам, смотрели хорошие фильмы, выстаивая огромные очереди у "Иллюзиона", гуляли по Москве. И так несколько дней. Потом Стаська исчезал, а Облепиха погружалась в спячку.

Со временем их встречи становились все более длительными и Облепиха уже стала надеяться, что когда-нибудь Стаська останется с ней навсегда...

Но колеса скорого "Москва-Ленинград" оборвали ее мечты и Облепиха осталась одна.

Словно ночь жестким покрывалом накрыла ее, разрушив надежды, оставив острые как лезвие ножа воспоминания.

И серая, невзрачная Облепиха приезжала к Стаськиной матери и там, в кругу его картин, они безутешные плакали - маленькая, пожилая женщина и молодая, красивая Облепиха.

А время не лечит раны. Оно лишь притупляет боль, делает ее привычной. Но и с этой болью человек не может жить долго, страдая.

Они стали меньше плакать, стали улыбаться. Но улыбаться лишь тогда, когда вспоминают Стаську. Они живут одними воспоминаниями, одаривая ими друг друга.

Когда Облепиха познакомилась со Стаськой, она, как и многие другие, решила, что он невозможен. Но со временем поняла насколько он мудрее ее, старше. И уже через год, когда Стаська по телефону спрашивал у нее, зачем она вышла замуж, то лишь растерянно оправдывалась, что и сама не знает, так уж как-то вышло...

Он угрохал на нее уйму времени, сопровождая вначале в ЗАГС, потом в суд и, помогая с переездом. Потом он исчез и появился только через три месяца. Долго расспрашивал, как она тут без него поживает, много курил, стряхивая пепел на пол и, одолжив денег, ушел. А на утро он подарил Облепихе огромный букет и пригласил в ресторан, где сообщил, что будет писать ее портрет.

Но это не обрадовало Облепиху, это испугало. И Стаська долго,

убедительно, но бестолково уговаривал ее, постукивая о стол коробком спичек, разделяя фразы. Тщетно. Кончилось тем, что Облепиха расплакалась, а Стаська, недоуменный и рассерженный, ушел... Но вернулся, наклонился к ней и указательным пальцем вытер ей слезы.

Стаська смущенно улыбался - он вдруг понял, насколько Облепиха бесконечно одинока, сколь незащищена. И он растерялся. Стаська никогда не сталкивался с одинокими, просто не замечал их, а тут почувствовал, что требуется его помощь, душевное участие, частица его самого.

Стаська был эгоистом, неспособным на жертвы. И вскоре уехал. И там, в недоступном для Облепихи мире, он почему-то вспоминал ее. Ее - восторженную, когда он дарил ей цветы, ее, настороженно озирающуюся в ресторане и прячущуюся от его наглых глаз, когда он пытался делать наброски, ее - плачущую.

Когда, поздно ночью, он вновь очутился в ее квартире, то даже не удивился. Он понял, что от этого ему теперь никуда не деться.

А Облепиха бесшумно хлопотала на кухне, жаловалась на соседа по лестничной клетке, что-то еще рассказывала, пытаясь, если не скрыть, то хотя бы умерить свою радость. И Стаська молчал, как не молчал еще никогда в жизни, нервно кусал губы ипил уже остывший чай...

Облепиха приняла Стаську таким, какой он есть и только тихо мечтала о большем. Но ему самому как раз и нужно было это большее и с каждым своим приездом к Облепихе он все больше убеждался в этом.

Стаська стал задумчив и рассеян. Чаще появлялся у матери, но с ней почти не разговаривал и, лишь, небрежно рисовал что-то в блокнотах. Он вдруг полюбил ночные прогулки в одиночестве, а днем, как правило, отсыпался - если не писал своей картины под названием "Книга жизни".

Стаська чувствовал, что в его жизни наступают перемены, с которыми он не хотел мириться, но и бороться с ними он тоже не хотел.

И смерть под колесами поезда не была выходом. Но жизнь распорядилась иначе, раздавив все его душевные волнения...

А Облепиха, вдруг, объявила его матери, маленькой, седой женщине, что Стаськино тело было обезображено почти до неузнаваемости и, что он - их Стаська - может быть еще хлопнет дверью и придет в комнаты, не снимая ботинок.

30. 01. 87 г.

СКАЗКА

Прежде, бывало, ночи
Реют темны-темнисты.
Звери вокруг зверисты,
Лешия бродят думы...

Песнями их разгоняешь,
Песнями тьму просветляешь.

А.К. Герцык

В темном лесу тревожно сова ухает. Шорохи. Тени.
Рыскают ненасытные звери дикие. Жутко. Тихо.
Светит месяц напуганный. Легкий ветер шелестит. Овевает.
Мысли нагоняет странные.

Замер камыш - прислушался нервно. Расслабился.

Вскрикнул во сне зайчонок маленький. Мать его успокоила.
Ушки длинные нежно погладила. Теплом согрела.

Фантастическая ночь. Шепчутся листья. Старый дуб кряхтит -
болезненно. Раны болят - жизненные. Спать не дают - будят.

Вода блестит прозрачно. Болотная. Злая. Гадкая. Безжалостная.
Живое от нее шарахается - ядовитая.

Колунья в свете очага мечется. Ворожит проклятья. Лягушата
зеленые под ногами путаются - мешают. Злится. Ругается.

Собаки дикие, лесные скулят взволнованно. К земле припадают.
Землю лапами роют. Мордами хищными поводят. Голодные.
Свободные.

Волк украл ягненка и ест. Костями хрустит.

Спит невозмутимый сторож - пастух. Спьяну храпит.

Звезды светят холодные. Не греют. Падают. Желания невы-
полнимые. Заветные. Сокровенные.

Вот месяц в облаках расплакался. В ветвях слезами шелестит.
Будоражит. Звезды скрылись от позора. Разбежались.

И совсем мрачно. Неуютно.

Конец близок?

Тишина...

Хрустнула ветка. Леший носит...

Легкий стук в окно. Скрипнула створка. Шепот. Переругивается
кто-то. Ш-ш-ш... Шорох. Жутко.

Голос леса.

Жалобно плачет птица ночная. Крыльями хлопочет. Бьется.

Горько. Сыро. Страшно.

Вот и старик древний, лесной торопится. Бородой в ветках путается, проклятия бормочет. К теплу спешит - согреться хочет.

- Постой, дедушка.

Ворчит. Недовольно оборачивается. Тепло в усы улыбается. С собою зовет. К себе приглашает. Приютить обещает. Грозится напоить, накормить, спать уложить.

Кто ж откажется?

Пахнет в сенах плесенью. Брагой. Травой лесной, сухой - полезной.

Дверь тяжело открывается. Со скрипом закрывается...

Лампадка горит. Грешить не велит. А иконка старая, закопченная. Много повидавшая. К грехам терпимая. Добрая.

На столе появляются соленья, варенья, ягоды свежие.

Керосинка коптит.

Разгорелись дрова в печурке. Трещат. Сон навевают.

Закипает мятный чай. Аромат.

А за окнами ночь гуляет.

Эй, ты, ужас лесной - прочь!

В тулуп укутаться и спать до утра?

Может, лучше послушать старика?

Что расскажет старик лесной?

Эй, ты, ужас лесной - долой!

И уж сыты все и согрелись. По лавкам, да по комодам расселись. Приготовились слушать... Но...

В лесу ветер воет. Пугает. Злой. Северный. Осень скоро. А там и зима. Время тяжелое. Не радостное. Хозяина отвлекает ветер - напоминает. Тревожно брови морщить вынуждает. Думы тяжелые вызывает.

И сидит старик задумчив и хмур.

За стеной возятся куры. Слышно, как вздыхает корова. Посапывает свинья. Мыши бегают, шуршат.

Но, что это? Кто там под окнами ходит?

Это медведь не спит. Пришел, как бабочка на огонь, и мается. Вокруг дома бродит, в окна заглядывает. В дверь войти не решается. Может впустить чудака?

Места хватит у старика.

Но не хочет медведь в избу.

- Я из лесу к вам не пойду.

- Что ж шатаешься ты тут, лохматый зверь? Вздрагивать заставляешь?

Ушел. Скучно ему одному. Одинок. Медведицу охотники убили. Вот и мается он один по лесу. Горемыка. Лесной владыка.

А в избе тепло и уютно. Дрова трещат. Самовар шипит. За окнами ночь властвует. Матушка ночь.

Дедушка тяжело с лавки поднялся. У окна бороду зеленую разгладил. Скинул тулуп. Плечи расправил. Помолодел.

Глаза блестят.

Гусли со стены снял. Тихо играет - сон разгоняет, грусть навеивает. Уютную. Неповторимую.

Мыши в углу притихли. Кур за стеной не слышно. Слушают.

Ночь поддалась. Успокоилась. Месяц любопытный из-за туч выглянул. Березы примолкли. Слушают.

Колдунья у очага задержалась. Слезу смахнула. Лягушата застыли. Собаки, в небо морды задрав, воют.

Все слушают.

Ночь - матушка.

Старик поет. Поет про богатырей русских. Исполинов духа, добра. Страх неведом им.

Им одним?!

Как боролись они со злом. Как врагов они побеждали. Какие они были.

Тихо поет старик. Задумчиво. И не поет он, а рассказывает.

Каждому.

Волшебные гусли у старика. Волшебный голос.

Их слушают.

Стиснув зубы -

- Слезы душат.

- Не плачь, дедушка.

Глухой голос у него стал. Плакать не стесняется. Пальцами узловатыми медленно струны перебирает. Былины рассказывает.

Эй, ты, ужас ночной - долой!

- Дедушка! Не плачь.

Рукой провел по лицу - смахнул грусть. Улыбается. Тяжело на лавку опускается. Вновь задумался. Пригорюнился. Гусли рядом лежат.

Живые.

Тишина. За окнами ночь замерла в почтение. Перед памятью.

Уважения!..

Березки стоят светлые. Ветвями поникли. Память. Молодость. Странная жизнь...

Но - пора.

Но еще ночь, еще месяц - тишина.

Изумрудная тропинка змейкой приветливой извивается. Манит. Торопит.

Спешить надо.

Мимо гордых деревьев, что головами качают, утешают. Мимо берлоги колдуньи...

Колдуй, колдунья. Ворожи, волшебница. К дубу старому по-дойди. Раны старые залижи. Обними. Утешь.

- Теплый какой! Мохнатый.

Вот и собаки лесные дикие. Головы положив на лапы мощные, виляют хвостами сильными. Глазами блестят влажными - умы-тыми. Просветленными.

Звезды в небе удивительные.

Шорох леса поразительный.

Трава под месяцем золотистая.

Иди сюда. Оглянись на сторожку старика. Видишь, какая она...

Окно горит - уютное.

Тени. Шорохи. Сказочно.

Болото испуганно охает. Вздыхает. Грустное.

Светает. Просыпаются птицы.

Лес расступается.

Поле у горизонта розовеет.

Река бежит. Небо светлеет.

Рассвет. Роса.

- Чье это платье в поле белеет?

Девушка купаться идет.

Босиком. Подол мокрый. Тяжелый.

Роса.

Утро пришло.

Солнце взошло.

Поют птицы.

Гусли на стене висят. Спит старик. Устал.

Медведь по лесу одинокий шатается - владыка.

- Спи дедушка...

Андрей ПОЛОНСКИЙ

ВЕНОК СОНЕТОВ

1991

1

Любовь прекрасна простотой,
Свобода - предвкушением Бога,
Глядит рассеянно, но строго
Сомнамбулический святой.

Где в пропасть рушится дорога
За незаметною чертой,
Звук пусть останется густой,
Насыщенною - ярость слога.

Так настигает тишина,
И время погружает в Лету,
Подобны смерти имена
Твоих пространств, подобны свету:
Немыслимо достать до дна -
Страна, которой вовсе нету.

2

Страна, которой вовсе нету,
Найти - легко сказать - задача,
О ручку зуб сломал - иначе -
Прорыв - рождение поэта.

Сидит, корпит, смеется, плачет,
Под боком Муза (неодета?)
Она непрочь, но парень... это...
Свой смысл вещей стыдливо прячет.

Он прячет смысл, боится тела,
В употреблении глаголы -
Поллюции случайной мета,
Но возникает неумело
Порыв высокий и тяжелый -



Ночь-потаскуха льнет к рассвету.

3

Ночь-потаскуха льнет к рассвету,
Читаем перечень потерь.
Что истины искать? Поверь,
Непрочны и ее тенеты.

Томится дух, в темнице зверь,
Пропали серьги и браслеты,
Придет расплата в оны леты,
Но не теперь, но не теперь.

Вот камень, он краеугольный,
Кричи, пока другим не больно,
Кто глух к словам - услышит вой.
Пусть дальше будет только хуже -
Презренье истине не служит,
Но возвышает над тцетой.

4

Но возвышает над тцетой
Нас голос Родины печальной,
Неспешный говор госпитальный
И образ в ризе золотой.

Под сень молитвы поминальной
Смешно проситься на постой,
Сухой хлопок, смешок: Живой?! -
Присядь перед дорогой дальней.

Ворота распахнет Москва.
Ее прощальные слова
Подобно окрику, навету,
Но боль твою, печаль и стыд
Утишит Тотьма, утолит...
Прилично ли рыдать поэту?

5

Прилично ли рыдать поэту,
Смеявшемуся невпопад
И презиравшему - виват! -
Все оговорки и запреты?

Зато теперь он виноват,
Ведь в драке, пивом подогретой,
В ход пущены его куплеты,
пропетые лет пять назад.

Здесь в орфографии ошибки,
Не смерти он хотел - улыбки,
Что выстрел вышел холостой.
Язык змеи, ума палата,
Жаль, жизнь не сводится к трактату
О вящей пользе запятой.

6

О вящей пользе запятой:
Вот перечень для очевидца
Когда придется разлучиться -
Лужайка, локон завитой.

Банальнее в руке синица,
Чем птица где-то над землей,
Но станет пеплом и золой
Газетная передовица.

Средь междометий социальных
И зоопарков inferнальных
Как часто думал я о той,
Кому стиль истины дороже,
И чтоб казаться ей моложе
Кидался в кипяток крутой.

7

Кидался в кипяток крутой,
Скорбели хмурые мужчины,
Они примерили личины
О, образ, постный и пустой.

Но есть один, кому морщины
Дороже маски городской,
Он вряд ли выберет покой,
На что есть веские причины.

К нему и обращен укор,
А чаще крик: Держите! Вор!
И я скажу вам по секрету, -
Хоть, может, шапка не горит,
Хоть знаю сам, что срам и стыд -
Меня и призовут к ответу!

8

Меня и призовут к ответу,
Я не умел связать слова,
Кружилась, ныла голова
И маятник клонился к лету.

А ты во всем была права,
Твои постельные сюжеты,
Твои пастельные секреты,
Твои законы естества...

Но оглянись вокруг - разруха,
Тоска-мука, унынье - муха,
Вопьется и сведет с ума.
Костяливый дед с петлей на вые
Плетется - есть ли кто живые? -
Пылают блочные дома.

9

Пылают блочные дома,
Юнец торчит напротив сквера...
Ну что? - Узбекская мадера.
Червонец. Это задарма.

Всему бойкот, иная вера,
А на картинке - терема,
Мужик хохочет: Хохлома!
Красиво все-таки, холера.

Все это грустные забавы,
Желанье есть, желанье славы,
Харизма, чернослив, хурма...
А люди ходят на работу,
Торгуют, ждуг переворота,
В их клетках скука и чума.

10

В их клетках скука и чума, -
Завыл пророк - толпа взревела,
Вот это стоящее дело,
Жечь житницы и закрома.

История... В ее пределы
Все входит - ненависть и тьма,
Награда - небо, мир - тюрьма,
Предсмертный выдох а'капелла.

Бессмертный император сдох.
Один бессмертный - сверху Бог,
Но ох, круты к Нему ступени,
И в напряженной тишине,
В небывшей никогда стране,
Звонит металлом: На колени!

11

Звенит металлом: На колени!
Но ты постой. Не уходи.
Прошли кислотные дожди,
Они размыли укрепленья.

Все остается позади,
Веков непрочные сцепленья,
Людей податливые тени,
Песок в глазах, комок в груди.

Докуришь и откроешь вены.
Все приключения мгновенны,
А здесь - надолго и всерьез.
Так торжествует победитель,
Радетель смерти и родитель.
Вот он, ответ на твой вопрос.

12

Вот он, ответ на твой вопрос,
Я знать не знал, глаза закрою,
И все мне видится, герою,
Что не сумел, что не дорос.

Стоит харчевня под горою,
В саду сортир и клумба роз,
А у трактирщика понос -
Дрянной придаток к геморрою.

Зато трактирщика жена
Дородна телом и пьяна,
С тремя целуется взасос,
Уж шлагги вынуты из ножен,
плохой конец вполне возможен...
Так важно ли, в какой из поз?

13

Так важно ли, в какой из поз
Застыли музы в час расплаты,
Но рота встала по квадрату.
Приказ был прост. Не надо слез.

Все оказались виноваты.
Ни на постой, ни на погост -
Рукою доставать до звезд,
Какая дерзость, аты-баты.

Эон закончился, Звонок.
Вещички собраны, щенок,
Теперь бессмысленно томленье.
Все ясно. В малом и большом.
Но в сладкой схватке, нагишом
Мы встретим светопреставленье.

14

Мы встретим светопреставленье
С улыбкой легкой на устах,
Что ж, грешный белый свет в летах,
И если так - настало время.

Пойми, мудрец, прими, простак,
Пусть прекратятся воплощенья,
Награда - чистым, всем - прощенье,
Полезный труд, напрасный страх.

Так и очутимся в стране
Которой не было, во сне
Иль наяву, но за чертой,
Где нет игры - ни глаз, ни рук,
Ни поражений, ни разлук...
Любовь прекрасна простотой.

15

*Любовь прекрасна простотой -
Страна, которой вовсе нету,
Ночь-потаскуха льнет к рассвету,
Но возвышает над тщицей.*

*Прилично ли рыдать поэту
О вящей пользе запятой,
Кидался кипятком крутой -
Меня и призовут к ответу.*

*Пылают блочные дома,
В их клетках скука и чума
Звенит металлом: На колени!
Вот он, ответ на твой вопрос.
Так важно ли, в какой из поз
Мы встретим светопредставленья?!*

Сергей ТАШЕВСКИЙ

РАЗГОВОР

Я хочу рассказать о губах,
О способах их сближенья,
О цветных мотыльках движенья,
О музыке, о губах.

Я хочу рассказать о том,
Как до гроба мы не узнаем,
Меж каких страниц - закладка резная...
И на сердце захлопнется том.

Я хочу рассказать, как блестят фонари,
Как под черные шины ложится город,
Я хочу рассказать про счастье, про голод,
Я хочу о праздниках говорить.

Это будет история льда в бокале,
Над кремлевской стеной встающего боя,
Где в шампанских снежинках небо рябое
И на темной бутылке - четыре медали.

А когда снизойдет на нас добродетель,
И грехи проявятся зло и ново...

Нет, я этому времени не свидетель,
Если нам суждено дожить до иного.

Я всего лишь хочу рассказать о губах,
О способах их сближения,
О цветных мотыльках движения,
О музыке, о губах.

* *
*

Я сам дитя и сын детей,
Я не сказал еще ни слова,
Мне не понять Твоих затей,
На вид - дурных и бестолковых.

Но, чистотой сдирая кожу,
Я доберусь до черных жил
В себе: до жизни, что не прожил,
И той, которой я не жил;

Она, с глазами распашными,
Войдет, как в форточки зима,
И вдруг окажутся смешными
Все философские тома,

Все словари - и всех полиций
Надзор за пеньем наших лир...
Из черных скобок и транскрипций
Шагнет душа в обычный мир,

Где лишь любовь, любовь - и только -
Произносима налегке,
Как мандариновая долька
На новогоднем языке...

* *
*

1

Было время - мы спали на голых досках,
Голосами птичьими светлело небо,
И недели нам года заменяли;
В годах же мы видели мало проку.

2

И пять чувств, пересчитанные по пальцам:
Обоняние, осязание, зрение,
Чуткий слух и вкус воды родниковой -
Считали нам время лучше всяких стрелок.

3

Уж так повелось, что если чувство уходит -
Память торжествует, память прячет добычу;
Войдешь в подземелие - и замрешь от блеска...
А только часы стучат, стучат годами.

4

Отведите меня в страну, где это было!
Вот моя рука: пять пальцев, пять дорожек.
Сделать шаг по первой - сирень благоухает,
И дымок осенний, кольцо на сердце...

5

Ко второй притронешься - листочком от ветра
Поцелуй отпрянет, качнутся деревья
Вдоль глухой дороги, и ветер с неба
Пробежит котенком меж нашими локтями.

6

А на третью выйдешь - и ничего не видно,
Только мир багряный, зеленый, несметный
Несется в лицо - о, комарики цветные!
Знаешь ли, слезы, - есть у памяти такое...

7

Отведи меня в страну, где это было!
Вот я здесь стою один среди сокровищ,

В тот же час и год, на том же самом месте...
Отведи меня туда, прикоснись к ладони!

8

Или у тебя все было иначе?
Или эта музыка - не те же пять ноток,
Пять коротких звуков в короткой жизни,
Коготок ночной у тебя под сердцем?

9

Господи прости, все это было и будет,
Как голос мамы на четвертой дорожке,
Как вкус молока и клубники поздним летом...
Боже, как мы много о вечности знаем!

10

Отведи меня в страну, где это было.
Страшно просить - только шепотом, с оглядкой...
Мы пойдем вдвоем по узенькой тропинке,
Улыбаясь, как дети в саду запретном.

11

Это - время, не деленное на минуты,
Не растасканное по городским телефонам,
Это - воздух, не знающий выдохов и вдохов,
Это - миг, когда даже сердце замирает...

12

Улыбнись во сне, улыбнись там, за стеною!
Голосами птичьими светлеет небо,
Все прозрачнее сумерки, и ветер шепчет,
Стуча в мерзлую землю листвой опавшей:
"Отведи меня в страну, где это было..."

13

И лежит перед нами страна, где это было.

* *
*

В московской кухне угловатой,
Где и к окошку не пройти,
Мы собираемся куда-то,
А между тем - давно в пути.

Куда, куда мы уезжаем?
Нам ничего не говорят.
И лишь она сидит - чужая,
Легка, как подорожный взгляд,

Волос холодною рекою
От нас отрезана давно...
И воздух, пахнувший тоскою,
Встает стеною за окном.

1989

* *
*

Черная тропинка по белой земле,
Семь звездочек в небе, и три - на столе,
Дубовые двери, окна медвежий глаз...
Отведи меня в край, где выпьют за нас!

Там, покуда не светит, не катит век,
За тяжелым столом не смыкают век.
Вечная ночь, вся тьма - на двоих...
Пусть коньяк будет крепок, как вера их.

На всех пятаках потемнеет медь,
А они как сидели - так и будут сидеть,
Пока дышит песню о злой судьбе
Архангел ветер в печной трубе.

Моя Россия будет долго молчать,
По всем статьям, как в покере, "пас";
На визу - печать, на уста - печать...
Летит за окнами край, где выпьют за нас.

И какой бы злой судьба ни была:
Отравой, травой, беленой какой -
Будут пить за ушедших колокола,
Книги, стихи, метель над рекой,

Да и хоть уголек последний в золе...
Так пойдем, чтобы дверь отворить с трудом
По черной тропинке, по белой земле
Вот в этот, и в этот, и в этот дом.

* *
*

Страницы города листая,
Играет ангел на трубе.
Тоска по детскому простая,
Замешанная на тебе.

Что я успел, что ты успела?
Звенит труба, сверкает медь.
И птица сбрасывает тело,
Чтоб легче ветер одолеть.

* *
*

Все темы перебраны.
Пауза в беседе.
Уже трамвай блестит последний на путях...
Ну, Бог с тобой, мы никуда не едем,
Останемся в гостях.

Нет этого щелчка - чтоб шарик покатился.
Нет глаза, чтобы тьму и свет
В дороге различить,
Нет слова, чтоб проститься,
И тела, чтоб согреться - нет.

Ну что ж, давай чайку, убитое мгновенье!
Тебе - живой водой "Грузинский-36".
Когда бы все не так - ни чая, ни варенья...
А чай, как видишь, есть.

* *
*

Брызжет, брызжет время осиновым соком.
Трава переминается с носка на носок.
Зло побеждает с броска, с наскака,
Но копится под ветками осиновый сок.

Ржавеет сталь и никель, крошится камень,
По городам - толкотня, хоть взвой,
Добро с кровавыми кулаками
Глядит из ямы сторожевой,

Истоки гордых рек поросли осокой,
И чистое - в грязь, за куском кусок...
Зло побеждает с броска, с наскака,
Но бьет по жилам медленный осиновый сок.

А небо все исчеркано черным крапом,
Ни песен не хватает, ни вина, ни воды...
Запах осины - последний запах,
За ним по Руси - только пепел, дым.

Подножной хлябью стало все, что было высоко,
И молятся книги без красных строк:
"Зло побеждает с броска, с наскака..."
Но режет землю руслами осиновый сок.

Крапило сладкой кровью и пряной волей,
Крапило - да ушло, как вода в песок.
Каплей по щеке и горечью в горле -
Последняя надежда нам - осиновый сок.

Брызжет, брызжет время осиновым соком.
Горько ли, солоно - судить не нам.
Зло побѣждает с броска, с наскака...
Но кличет уже океан с Востока
Смиранных, плачущих - по именам.

Новогоднее

А.П.

Все меняется день ото дня,
Распадется, пахнет тоскою;
Драмы, вспыхивает беготня,
Рассыпается жизнь под рукою,
Наконец-то!...
Не наша вина,
Просто все получилось спелна -
И достаточно.
Надо другое
Начинать, продирая глаза.
Сменит Нового Года лоза
Вековое вино дорогое -
И она отрицает вину;
Даже слово такое к вину
Не подходит,
Спивается слово,
Как ботинок лежит под сголом...
И надеть его, знаешь ли, влом. -
Так пошли босиком; все готово!

* *
*

Мы ловим свет, как птицы просо,
И твердь позволит нам опять
Топтать свои морские косы,
Морские губы огибать.

А этот путь лишь тем и светел,
Что он - земной, обычный путь...

Так мотылек небесный пепел
Не может с крыльев отряхнуть.

Андрей ВОРОНИН

АРКА НАД ЛЕСОМ

Залатанные обрезками стекла окна школьного спортзала дребезжат под напором ветра, дрожат на потолке солнечные зайчики. У стены с гимнастическими лесенками, между стойками баскетбольного щита, портрет старика седого как лунь - длинные пряди волос из-под серебристого меха шапки, тщательно расчесанная борода - снежный водопад вокруг смуглого лица с веселыми, живыми глазами. У старика хорошее лицо, мудрое и тихое, как и его открытая небу ладонь - длинные, узловатые старческие пальцы. Ощущение, что рука сухая и чистая. Хочется припасть к ней губами.

Под портретом медная индийская ваза с цветами - крепкие, жаркие, переполненные запахом и цветом южные розы.

- "Мистическая роза" - очень эффективная медитация, очень мужская медитация, - говорит Степанцов, высокий, худощавый мужчина в желтых шароварах, ритмично покачивая рукой с микрофоном. - Найдите в себе то место, где спрятан ваш смех, найдите то место в вашем прошлом, где вы потеряли ваш смех.

Он говорит монотонно, словно прислушиваясь к чему-то, словно пересказывая то, что нашептывают ему невидимые шептуны, сосредоточенно бросает слова в одну точку, от сердца к сердцу, к сердцам полусотни людей разного возраста, сидящих на разложенных на полу матах. У Степанцова тоже очень живые, веселые глаза.

Широко улыбаясь, покачивая, словно "китайский болванчик", головой, Чарли Хетлинг опускается на колени, прогнувшись, делится объективом "кодака".

- Вы можете попытаться вытолкнуть смех из себя, - говорит Степанцов. - Сначала это будете делать вы, но, вскоре, сами звуки ваших попыток смеяться рассмешат вас по-настоящему. Или вы можете просто прислушаться к себе и ждать, когда смех появится сам. Или у вас получится как-нибудь по-другому. Может быть вы найдете свой смех сегодня, может быть завтра, может быть найдете через год. Ищите. Вы не привыкли к смеху, вы забыли, как смеяться. Ничто не серьезно: можно смеяться над вашими разочарованиями, можно смеяться даже над вашей болью. Затеряйтесь в смехе.



На лицах слушающих шевелится сеточка тени от выкрашенных белой масляной краской решеток на окнах.

- Эй, Сона, хочешь что-то сказать? - смеется Степанцов.

Вскакивает стриженная под мальчика, страшненькая, конопатая девушка:

- Я приехал-а в Союз, чтобы терять ум здесь! - очаровательная улыбка. У нас Германия терять ум очень трудна! У вас такой замечательный люди, с такой широкой душа! - разводит руками. - Я люблю ваша люди!

Степанцов включает магнитофон: огромные черные динамики оглашают зал задорным смехом - так смеются в мультфильмах и в цирке. Люди расползаются по залу, растерянно смотрят друг на друга, пытаются рассмеяться.

- Я буду совсем без ум здесь! Я буду ыы-айаа! - прыгает вокруг Степанцова Сона, демонстрируя, какой она будет.

Торговки, прячась от солнца, жмутся к серой, в струпьях облупившейся штукатурки, стене. Колючие, скрюченные солнечным параличом ветви сползающего со стены кустарника, узкие, длинные листья без тени. Чарли и хорошенькая девушка в стиле Лайзы Минелли бредут по полуденному городу, напоминающему желтое, давно нуждающееся в капремонте здание районной больницы. Черты лица девушки крупны и выразительны - рот, носик картошечкой, глаза - все крупным планом - неожиданная и броская композиция. Девушку зовут Дашей.

Ящички вдоль стены, а на них много чего разноцветного и вкусного среди банок и ведер с цветами.

- Только искусственные цветы неизменны, - говорит по-английски Чарли, аккуратно укладывая в сумку поверх золотисто-медовых дынь тяжелые грозди винограда. - Настоящие цветы непостоянны, они меняются от момента к моменту. Сегодня они здесь, пляшущие на ветру под солнцем. Завтра ты не сумеешь найти их. Они исчезают так же таинственно, как и появляются. Не надо беспокоиться. Если один цветок завял, придет другой. Цветы будут приходить всегда. Не цепляйся к одному цветку. Люди цепляются за мертвую любовь, которая однажды была живой. Теперь это только память и боль. И ты увязла в этом.

Летнюю толчею постепенно сдувают сентябрьские ветра. Звенят и раскачиваются на стыках рельсов неизменные трамваи Большого Фонтана. Жизнерадостная вульгарность мирно соседствует в Одессе с некой, сосредоточенной в себе мудростью, крупницы ко-

торой, как пыль, здесь повсюду - в приземистых домиках из брусьев песчанника, в руках торковки, неторопливо складывающих одна к одной замусоленные рублевки, в рваных, гортанных фразах ругающейся с кем-то девочки-подростка, в ее мальчишеских манерах, вопреки уже оформившемуся, отнюдь не детскому телу.

- Я себя очень странно чувствую, - говорит Даша, шлепая вьетнамками по стертому в пыль асфальту. - Как в невесомости. Ручки-ножки ватные, а в голове море плещется. Никогда не думала, что смех так выматывает, - и она, механически маршируя в такт, напела по-русски:

"Над страной весенний ветер веет,
С каждым днем все радостнее жить,
И никто на свете не умеет
Лучше нас смеяться и любить!"

- Что это? - удивленно вскинул брови Чарли.

- Русская песня, про любовь.

- Да, - кивает Чарли. - Фольклор. Мне нравятся ваши песни.

Они очень странные.

- Да, - кивает Даша. - Толстой, Достоевский, загадочная русская душа.

- Да, - смеется Чарли, - вы похожи на детей, вы невинны.

- Ты тоже дурашка. Ой! - споткнулась Даша.

Чарли заботливо подхватил ее под руку.

- Подожди, - отстранилась она, присев на корточки, потеряла оцарапанные пальцы ноги.

- Больно? - поинтересовался Чарли.

- Ага. Впрочем, не очень, - и Даша, сняв вьетнамки, пошла, чуть прихрамывая, босиком.

- Подожди, - сунув между подошвой сандалеты и ступней маленький камешек, прихрамывая, догоняет ее Чарли.

Ночью падают, стучат по крыше грецкие орехи. Днем тоже падают и стучат, но днем не слышно. Каждое утро Степанцов влезает на абрикосовое дерево и длинной палкой сметает орехи с крыши. Земля вокруг столика в саду усыпана ореховой скорлупой.

Над тополями, что черного неба черней, пухнет луна. Верещат цикады. Чарли и Даша коротают за столиком ночь. До сорока лет Чарли был нормальным англичанином, жил в маленьком, захламленном городе, имел фотоателье, жену и детей. Как-то на традиционной осенней ярмарке он зашел в шатер гадалки мисс Трюссо.

Что ему нагадала мисс - никто не знает, только к зиме Чарли продал свое ателье и, бросив жену и детей, уехал - трудно сказать куда, потому что за семь лет он объездил, пожалуй, всю планету и стал довольно известным фотохудожником.

Наклонив мятый алюминиевый бидон, Чарли сливает в кружку остатки теплого пива. "Бу-бу-бу", говорит в пустоту бидона и, постучав по доньшкxу, ставит его под стол. Он говорит, что у него есть две мечты - он хочет стать радугой, а еще он хочет большой и светлой любви. Даша смеется и говорит, что скорее он станет радугой. Толстый котяра, бандит и плейбой, мягко ступает по рейкам забора, тянет к луне изуродованную в драках морду.

- Маяковски! Маяковски! - раздается в ночь вопль Соны. И она, выскочив нагишом из дома, подбегает к столику и показывает Даше какую-то букашку.

- Есть такой пьес! Я забыл, как по-русски?

- "Клоп", - догадалась Даша.

- Да, клоп! - радостно восклицает Сона. - Они меня совсем кушали! - и, почесываясь, бормоча что-то по-немецки, уходит в сторону туалета.

Поразительно, сколько в человеке воды. Плачет Даша и никак не может остановиться. На черном дермантине мата уже лужица плещется. А зал содрогается от гогота. Люди прыгают, ползают, бегают, размахивают руками, строят друг другу рожи, катаются по матам - ищут по-всякому свой смех. Четвертый день недели смеха. Каждый день по три часа. А потом неделя плача - вот тогда-то и надо плакать. А потом еще неделя молчания.

В предыдущие дни Даша честно пыталась смеяться. Но всякий раз возникала боль в затылке, неприятные вибрации в желудке и к горлу подкатывала тошнота. "Что такое со мной?" - удивленно смотрит по сторонам на судорожные усилия соседней, на то, какими некрасивыми стали их лица, перекошенные смехом. Воздух сгустился, набряк, как перед грозой. Легкие покалывания в голове и ладонях. Лицо Даши само собой растягивается в плаксивую гримасу и - ууу! - опять потоки слез. Футболка с аппликацией - розовый слоненок весело помахивающий ушами - влажно липнет к телу.

Мечется по залу Степанцов, визжит, тормашит, устраивает возню и потасовки - кажется, что Степанцов везде. Подскочив к Даше, толкает, разминает спину. Тело Даши податливо раскачивается под его руками.

- Походи, побегай, - шепчет Степанцов. - Ха, ха, ха! - смеется, резко напрягая диафрагму. - Не смотри по сторонам, займись собой.

И, кувыркнувшись через голову, вваливается в кружок хохочущих кавказцев - вот уж кому не нужна его помощь - группа кавказцев смеется очень натурально.

И Чарли легко смеется - плотный, широкий, обаятельный - вразвалочку бродит по залу - к Даше не подходит - замирает, вдруг, неожиданно вскинув длинный объектив "кодака" - каждый день по две кассеты расстреливает.

В безобразно запущенном школьном туалете Даша, отвернув единственный из работающих кранов, плеснула в лицо водой и долго разглядывала в треснувшем зеркале зареванную девушку с мутными от слез, испуганными глазами.

Выйдя из школы, обернулась к окнам спортзала - отсюда смех напояняет гудение трансформатора - и пошла к морю.

Через дыру в заборе, между корпусами санатория, и опять вдоль забора - наконец, она выбралась на дорожку, по которой с усталыми, скучающими лицами, едва передвигая ноги, возвращались с моря отдыхающие. В этом месте к морю она никогда не спускалась. Решив срезать, взяла правее и вскоре оказалась на вершине крутого склона, поросшего сухой, колючей травой - внизу плескалось недоступное море: в кроссовках - еще куда ни шло, но в шлепанцах тут не спуститься, босиком тоже - и она вернулась на дорожку, которая хоть и петляла, но вывести должна была наверняка. Минут через пять почудился запах кофе и за очередным поворотом возникла хибара без опознавательных знаков. За дверью гудел вентилятор и пахло явно оттуда. Там запотевшие ледяные бутылки немецкого пива, обезьяны в фуражках, женские груди и бедра, резиновые улыбки, стремительные линии сверкающих автомобилей - разноцветными плакатами на стенах. Там сумеречно и пусто. Лишь в углу сидит женщина с бледной, почти прозрачной девочкой.

- Я те помашу рукой на проезжей части, я те так помашу, - сердито выговаривает женщина, а девочка ест мороженое.

Булькает куб охладителя с соком, за ним едва слышно потрескивает жаровня с песком. Из двери в подсобку выглянул толстый мужчина в черной, расстегнутой до пояса рубашке. Шумно и тяжело втягивает он воздух, поглаживает темные, выющиеся на груди волосы, то и дело вынимая из кармана платок, вытирает лицо и шею. Он толст, ему жарко, он страдает.

- О, Рубенчик, посмотри, какая женщина зашла, - говорит. -
Поди сюда, - манит Дашу за столик, - сядь.

Следом появился рослый парень в узенькой майке, почти незаметной на его необъятном торсе, вспученном буграми мышц.

- Иди, иди, - манит толстяк, - посиди, чего ты? Я же тебя знаю. Чего ты боишься? Вчера ночью ты в видеобаре танцевала с фоорином в полосатых штанах? Я тебя еще там запомнил. Помнишь, Рубенчик, я тебе тогда еще сказал: "Эффектная женщина!"

Рубенчик согласно кивает, равнодушно взирает на Дашу томными, коровьими глазами навывкате.

- Сядь, посиди с нами, - берет толстяк Дашу за руку. - О, какая мягкая ручка! Ну что еще нужно старому армянину? - усаживает ее за столик. - Вино хочешь? Мясо хочешь?

- Кофе хочу, - говорит Даша.

Могучие руки Рубенчика парят медленно и плавно, как стрелы башенного крана - Рубенчик варит кофе.

- Здесь, конечно, ничего нет, - говорит толстяк. - Здесь такое место, для приезжих. А то поедем. Здесь у меня машина стоит, "мерседес" красный, "Мальборо" написано - не видела? Поедем сейчас, возьмем мясо, вино, на природу поедем, будем пить, кушать, веселиться, короче, кайфовать.

- С вами, поди, кайфовать придется сутки напролет, - улыбается Даша.

- Смотри, Рубенчик, какая умная девчонка! - смеется толстяк. - Из Москвы, небось?

- Оттуда.

- Где вас, москвичек, таких делают? Такая умная, красивая. Отличница, наверное, спортсменка, короче.

- Сахар - сколько ложек? - задумчиво спрашивает Рубенчик.

- Без сахара, пожалуйста, - улыбается Рубенчику Даша.

- Как хочешь, мне не жалко, - пожимает плечами Рубенчик, бережно, словно птенца, несет чашку, в которой соблазнительно мерцает, пузырится кофе с пенкой.

- Спасибо, - пролепетала Даша.

- Ну, давай, короче, договоримся, - говорит толстяк. - Вечером я за тобой заезжаю, поедем в лучший ресторан. Всех выгоню, одна будешь сидеть, как королева. Что скажешь, то тебе и будет.

Смеется Даша.

- Чего ты смеешься? - продолжает толстяк. - Как увидят, что ты с дядей Кареном, все тебя сразу уважать будут. Ну, давай, короче, где ты живешь?

- Нет, вы знаете, спасибо, я сегодня никак не могу. Давайте завтра.

- Ой, слушай, зачем завтра? Знаю я вас, москвичек, завтра увидишь дядю Карена и не узнаешь его.

- Ну что вы, обязательно узнаю.

- Ну, ты пей кофе, пей. Может еще чего хочешь? Вино хочешь? Мясо хочешь?

Пригубила Даша кофе и говорит:

- Листок бумаги хочу, ручку и почтовый конверт.

- Рубенчик, принеси, - берет толстяк Дашу за руку и доверительно заглядывает в глаза. - Слушай, я уже не парень. У меня жена, сын в армии, дочка школу заканчивает. Ты ни о чем жалеть не будешь. Мне же просто приятно: еду в машине, "мерседес" красный, номер семь-семь-семь-семь, женщина красивая рядом сидит. Ты мне просто понравилась. Вот смотри, ты приехала, у тебя вот здесь, - тычет пальцем в грудь, - ничего нет, а уедешь - будет - цепочка золотая.

- И кольцо в нос, - кивает Даша.

- Вай, зачем кольцо? Ты просто хорошо отдохнешь, так, чтобы на всю жизнь запомнилось. Потом замуж выйдешь, я к тебе еще на свадьбу приеду, подарки привезу, вина домашнего, барана, с мужем твоим познакомлюсь. Жених-то есть у тебя?

- Да-да, у меня жених, даже два жениха.

Флегматичный Рубенчик, как бы между прочим, проходя мимо столика, кладет перед Дашей ручку, почтовый конверт и два листа мелованой бумаги с золотыми тисненными буквами сверху "Carrion International".

- Шутить ты, я вижу, любишь, - смеется толстяк. - Ну что, короче, едем? - потрепав Дашу по щеке, прижимает ее к себе. - Королева моя, - самодовольно оглядывается по сторонам.

Но вокруг никого. Даже женщина с девочкой исчезла.

- Ну, пиши, пиши, - тяжело вздыхает толстяк и уходит в подсобку.

"Короче, Рубенчик, дай ему восемь тонн, как договорено было," - расслышала Даша, прежде чем дверь в подсобку захлопнулась, и, придвинув лист, быстро, почти не отрывая ручку от бумаги, написала:

"Здравствуйте, глубокоуважаемый кое-кто! Пишет Вам с Черного моря - угадай кто. Здесь можно купаться и я купаюсь, и можно быть счастливым, и я счастлива, просто до слез..."

- Ах, черт! - поморщилась Даша, смятая лист, и застрочила крупным, разболтанным почерком на следующем:

"Даник, столько между нами всего наворочено, такое количество слов, амбиций, привычек, взглядов, воспоминаний, чужих реплик и наших желаний, что уже ничего не видно - все правды, все логически верно, объяснимо, не работает, - и никак не прорваться к той штуке, которая свела нас вместе, и это очень глубоко внутри или наверху, я не знаю точно где - этот тяжелый, влажный комок, который не выплакать..."

Она допила кофе и задумалась, наблюдая, как там, за распахнутой дверью, мужественно поднимаются в гору отдыхающие, такие однообразные, что Дашу начинает клонить в сон - плывут буквы, автомобили, отдыхающие, обезьяны в фуражках...

Даша засыпает. Ей снится, что она летит над лесом в звенящем, радужном мареве. Чьи-то сильные, надежные руки подхватывают ее и становится тихо и покойно.

За окном пасмурно, крапинки дождя наискось по стеклу, но свет не включили, в вагоне поэтому серо, серей, чем серые московские окраины за окном.

- Кого Бог да сочетал, того человек не разлучает, - нравочует самодовольная тетка двух парней, внешне смахивающих на "фарцу". - У нас почти каждое воскресенье женятся. Летчики вот приходят, просят пресвитера, дайте, говорят, жену верующую. Хорошие, красивые парни, в рейсах все. Хотят, чтобы жена ждала, не изменяла. А пресвитер им говорит: "Мы жену вам дадим только, если вы сами верующие."

Парни слушают с ученической серьезностью, кивают, задают вопросы: "а вот если... а правда, что..."

Голова с залысинами над радиосхемой в каком-то очень специальном журнале. Поднимает бесцветные глаза - линии параллельные и перпендикулярные - смотрит сквозь Дашу, опять опускает. В схему. Мысли. Инженер. Мыслительный процесс, разум, "А" и "Б" по законам логики и здравого смысла сидели на трубе. Эйнштейн, великий разумник, дошел до края рации, но прыгнуть не решился, так и остался на трубе - мыслитель склоняет львиную голову - рык бессилия, отступает.

- Шесть соток и НЛО! - проходит по вагону разносчик газет, оставляя за собой кислотоватый запах влажной, несвежей одежды. -- Шесть соток и НЛО!

В тамбуре электрички ругаются два старичка, обзывая друг друга "коммуняками". На мгновение мелькнула за окном женщина, несущая на плече ведро с красными цветами - яркое пятно, словно плюмаж генеральской шляпы.

Это не радуга, это арка над лесом. Возле арки - будка, а в будке всегда стоит милиционер. Именно отсюда, от плотины под аркой, берет начало река Луча, получив свою жидкую пайку, медленно плетет затейливые петли, ломает, путает, усыпляет тягучим дурманом улочки подмосковного города Лучинска, плодит мосты и мостики с бесстыдно заголившимися стальными прутьями арматуры. Иногда Луча спросонья забредает в тупики заводей и там, приткнувшись, гнивает под одобрительное кваканье лягушек.

От станции "Лучинск" до дачи Данилы коротким путем, тропинками, вдоль дачных заборов с любопытными, злыми, добрыми, шумными детьми и собаками минут двадцать ходу. А там уже совсем рядом плотина и длинная, пыльная дамба. Был июнь и деревья, как падшие женщины, цеплялись к прохожим - зелень шутила, сбивала шляпы, тайком от хозяев дарила пронзительно-зеленые яблоки и потешалась над кислыми гримасками лиц.

Шли через дамбу, мимо красно-белых столбов с надписью "Запретная зона", шли лесом и по тропинке вдоль водохранилища, утекающего за горизонт. В маленькой песчаной бухте разделась, побросав в беспорядке одежду, и Даша вошла в воду, вскидывая колени, как цапля, далеко ушла по мелководью, потянувшись к небу - "уаа!" - закричала дико и радостно, погнавшись за уткой, упала и поплыла туда, где глубоко и опасно - злые менты иногда проезжают дозором на лодке моторной.

Здесь, на мелководье, где воды по колено, весь день Данила и Даша барахтались, ласкаясь, как рыбы. В сумерках, сидя на поваленном дереве, пили вино из щербатой железной кружки и Данила рассказывал о местном оборотне Василии. Даша не верила, вытягивала губы трубочкой и говорила, "У-тю-тю". На дачу возвращались затемно, медленно, ни единого слова не произнося, часто останавливались, постояв обнявшись, падали, порой просто от усталости.

Акации, зеленые стручки, осторожно раскрыть, вытряхнуть катышки семян, закрыть створки стручка, набрать побольше воздуха и подуть в него, рождая скрипучие, трескучие, визгливые звуки, - не всегда получается, но если наловчиться...

На пристанционной площади тетки и трудные подростки торгуют пивом, сигаретами и семечками. Разноцветный мусор в жидкой грязи, чавкающей под ногами. Газетный и несколько кооперативных ларьков со всякой всячиной. Кучкуются, топчутся под зонтами ожидающие автобуса люди. Маленькая, плоскогрудая

девушка-вьетнамка, улыбаясь, предлагает Даше флакончик шампуня. От станции до дачи Данилы коротким путем, тропинками вдоль заборов минут двадцать ходу.

Отсырели простыни, одежда, книги. Плесень на срезе вчера только купленного батона. Раскаленный старенький рефлектор беспомощно мерцает в углу мансарды, устало потрескивает и, кажется, собирается перегореть. С полудня Данила почти не вставал с постели, то засыпал, то очнувшись от неглубокого сна, выверенным жестом доставал из пачки сигарету, прикуривал, стараясь не потревожить тяжелую от погоды голову, прислушивался к шуму дождя, к медленно проплывающим в голове мыслям, к крысиному шороху между стеной и скатом крыши. Каким образом и зачем лезут крысы на второй этаж, в мансарду - не понятно, будто им под домом места мало. У изголовья кровати стоят садовые вилы для тех, кто утратит бдительность. Ветер неутомимо рвет тучи, перетасовывает, размазывает по небу равномерной хлябью, снова собирает в бесформенные глыбы. Данила думает о том, что, в общем-то, надо встать, покидать в сумку вещи и по превратившемуся в болото бездорожью добраться до станции.

Минувшее лето текло долго и монотонно. В конце августа неожиданно уродилась смородина и Данила каждое утро, приговаривая "ох, щедра ж ты, природа, мать наша", усаживался с ведром в кустах. Плохо подвязанные ветви под тяжестью ягод стелются по земле на радость муровьям и прочим мелким тварям. Бросить горсть ягод в ведро - звук, словно струйка молока из-под коровы. А вдогонку поспевали яблоки, и картошка напоминала о себе. Помидоры же краснеть не торопились, обещая доспеть в чулане.

Притомившись, Данила шел к грядкам, запустив руки в ковер разлапистых листьев, доставал оттуда колючие, пупырчатые огурцы и, ополоснув их в бочке с дождевой водой, ложился в траву у клумбы. Покачиваются на стеблях шары георгинов, трепещут лепестки, яркие и хищные, как щупальца Медузы Горгоны. Чиркают по небу стрижи. Данила медленно пережевывает огурец, хрустящий чисто и невинно, наслаждаясь ненавязчиво текущим временем, думает о том, что работа успокаивает, дарит иллюзию смысла. Вот, к примеру, Чеховские герои сначала кричат: "В Москву! В Москву! Пропала жизнь, пропала!" А накричавшись, твердят, как заклинание: "Надо работать, трудиться, на благо грядущих, счастливых, свободных, мы будем трудиться, господа, небо в алмазах, господа!" И они, в общем, правы: чем больше энергии скидываешь в работу, тем меньше ее остается на дурные мысли.

Дождавшись положенного часа шел Данила играть в теннис в городской парк, где недавно устроили корты, заходя попутно в магазины, если в том была необходимость. Вечерами же садился он на веранде возле газовой плиты, на которой в тазу ягоды с сахаром превращаются в варенье, и переводил сопливый американский романчик в стиле Колетт, за который одно частное московское издательство отвалило очень приличный аванс.

Иногда возникало физиологическое беспокойство. И Данила, купив в ларьке на станции бутылку водки, шел в желтый двухэтажный барак к женщине, работающей бастеляншей в здешнем санатории. Пил водку и слушал уютное бормотание дуэтом женщины и телевизора - про санаторские новости, про политическое положение и про покойного мужа, который, по словам женщины, умер от водки - на телевизоре стоит его фотография - крепкий такой мужик, усы скобочкой. Правый нижний угол фотографии перетянут наискось черной лентой - не знаю точно, как этот материал называется - креп? - из такого материала для маленьких девочек делают банты.

Женщина очень в теле, занимаясь любовью, обильно потеет. Два тела, соприкасаясь, хлюпают, как влажная тряпка об пол. Кстати, женщина подрабатывает на полставки уборщицей в том же санатории.

Дачу эту дед Данилы получил почти одновременно с повышением в звании и по поводу отставки - можно сказать, в одночасье он превратился в генерала, дачника и пенсионера. На последней фотографии ему 68 лет, но выглядит он значительно моложе - обнаженный по пояс, в старых форменных галифе и сапогах сидит на ступенях недостроенной веранды - крепкий, сильный мужчина, вполне довольный и уверенный по жизни.

Доставшийся ему дом он разобрал "до основания, а затем", а затем построил так, что и двадцать лет спустя нет проблем - крыша не протекает, пол не скрипит, а печь греет почти без дров. Говорят, что вокруг дома раньше росли березы и старые, оголившиеся у основания ели. Дед дикие деревья уничтожил, насадил фруктовые, протянул вдоль забора заросли ягодных кустов и акаций - акации тогда были в моде - разбил за домом огород, а вдоль дорожки от калитки посадил цветы.

Всего один раз Данила видел деда в генеральском мундире. Никогда, даже в День Победы, не бряцал дед воспоминаниями и орденами. Мундир, сильно пронафталиненный, наглухо зашитый

в полотняный мешок, висел в шкафу, который запирался на ключ. В квартире родителей Данилы есть два шкафа и один из них запирается на ключ - раньше запирали от Данилы, сейчас запирают по привычке. Но и тогда, в детстве, он всегда находил связку ключей, как бы тщательно ее не прятали - нравилось ему поглаживать рукой, касаться лицом ласкового, волшебного меха маминых шуб и воротников - мех такой разный - жесткий, упругий, колючий и легкий, воздушный, как пух. На той же связке был ключ от среднего, самого вместительного ящика письменного стола в кабинете деда. В ящике этом Данила, забыв обо всем, мог копаться часами - там хранились ордена, документы, грамоты, две пухлые папки с бумагами, фотографии в черных конвертах, жестянка с панорамой Кремля на крышке, набитая шариками, колесиками, значками, поломанными часами и всякой разной мелочью, а в самом дальнем углу ящика он нашел настоящий пистолетный патрон. Все эти сокровища исчезли, испарились после того, как Данила спросил у мамы: "Ма, а что такое НКВД?"

За месяц до смерти дед превратился в ребенка. Большую часть времени он лежал и, улыбаясь, разглядывал потолок. Иногда вставал, бродил по квартире, осторожно, все так же улыбаясь, касался разных предметов, перекладывал с места на место газеты или сидел на краю ванны с папиросой в зубах, слегка покачиваясь, как мальчишка на заборе. Он очень похудел, стал скелетопоподобен и просто лучился счастьем. Все было бы очень мило, но дед при этом напрочь забыл, что такое унитаз и зачем он нужен. Впрочем, когда человек настолько счастлив, зачем ему унитаз?

Во вторник приказал подать лошадей, потому что ворота, говорит, открыты.

"Винца бы", - попросил в пятницу, отходя.

Но Данилиной матери было неудобно перед врачом, который вот-вот должен был приехать - "что это от больного спиртным пахнет - нехорошо" - должен был подумать врач, по мнению матери Данилы. И вместо вина она дала деду разбавленное водой варенье.

"Сладенько", - улыбнулся и помер солдат Великой Империи, раскинувшейся от Эльбы до Чукотки, от монгольских пустынь до полюсных льдов.

"Так закончится мир - не взрывом, а всхлипом", - написал по этому поводу Томас Стерн Элиот.

И увидел-таки Данила деда в генеральском мундире с орденским планками во всю грудь. Ордена несли отдельно. Открытый

гроб выставили у подъезда на обозрение соседей. Соседи обзрели. Желаящие подходили и чмокали деда в лобик. А одна старушка, всегда такая тихая и вежливая, выскочив на балкон, взвизгнула фальцетом:

- Палач! Мусор! Падла!

И расхохоталась, как Мефистофель. Соседи потеряли к деду всяческий интерес, распахнув рты, обратили взоры к балкону, на котором металась, кричала, хохотала, глотая слезы, маленькая старушка. Особо душевные засуетилились вокруг матери с гаденьким сочувствием - пытались увести ее в машину. А мать, морщась, как от зубной боли, вертит головой, ищет отца, словно забыв о том, что отец улаживает дела на кладбище. Наткнувшись взглядом на Данилу, зашептала, умоляя о чем-то. Данила не слышал о чем, видел лишь, как шевелятся ее губы, видел глаза. Поднявшись на третий этаж, вышиб на удивление легко подавшаюся квартирную дверь и выдернул крикливую струшку с балкона. Немного не рассчитал: старушка оказалась слишком легкой и от толчка улетела в дальний угол комнаты. Уже не кричала и не смеялась - "по голове не бейте, пожалуйста, по голове", - канючила, ползая по полу, и, дергаясь всем телом, икая.

Сквозь жидкие пряди старухиных волос виден обтянутый розовой кожей череп. Все происходило, как во сне. Данила ощутил абсолютную отстраненность от происходящего и вдруг с ужасом понял, что не знает, что ему делать, что вообще люди делают в подобных ситуациях. Растерянно смотрел он на ползающую у его ног старушку, словно шахматист, забывший все заученные дебюты и эндшпили, смотрит на доску, решая, с какой из восьми пешек зайти - на одно или два поля - а ведь можно еще зайти конем - правым или левым?

- Это на ремонт двери, - положил на стол деньги, уходя.

Коротким путем, размытыми, топкими тропинками, прыгая по кочкам вдоль заборов, за которыми опустевшие, осенние дачи, она удивлялась сама себе - по всему выходило, что все это зря, не нужно и просто глупо - эта поездка на природу и пирог, который она зачем-то испекла. И Даша совсем было решила вернуться на станцию, но прикинув, что до дачи уже рукой подать, а до станции еще прыгать и прыгать, и совсем не факт, что она застанет на даче Данилу, и в таком случае, можно со спокойной совестью вернуться на станцию - ну нет его здесь, что поделаешь? - она, мужественно преодолев последнюю сотню метров, увидела знакомый синий сруб с прилепленной сбоку верандой.

В мансарде горит свет.

С трудом сдвинув холодную, ржавую задвижку калитки, она подошла к дому и, чуть помедлив, крикнула басом:

- Эй, хозяин, мосгаз вызывали?

В проеме окна появляется лохматая голова Данилы, расплывается в улыбке, исчезает.

На захлавленной веранде коробки и банки, сковородка с пригоревшими шкварками на плите, засохший на тарелке творог возле пишущей машинки и стопки книг. Гудит старенький холодильник. Пахнет яблоками и сырой землей.

"Она вспомнила, как однажды летним днем, когда она млела от его ласк, он вдруг резко спросил ее:

- Ты будешь мне изменять?

- Нет, никогда. Я люблю тебя одного.

- Если ты мне изменишь, я тебя убью!

"Вот и хорошо, пусть он убьет меня! - подумала графиня, вставая. - Какое это счастье - умереть от его руки. Я его люблю!" - прочитала Даша на вставленном в пишущую машинку листе.

- Это еще ничего, - спускается из мансарды Данила, - обычный "лямур-тужур". А вот весной я переводил сборник "ужасиков": там есть одна повесть про то, как пятилетний мальчик всех бритвой режет - папу, маму, сестренку, соседа, полицейского - он их так подробно режет, что мне пришлось медицинский словарь доставать, чтобы... Какая ты, однако, - смотрит на продрогшую, нахололившуюся Дашу, на ее мокрые, свисающие сосульками волосы, заляпанные грязью джинсы и кроссовки.

- А я тебе пирожок привезла, - говорит она, вживаясь в образ бедной сиротки, печально хлопает носом.

Из пыльной, подозрительной на вид бутылки наливает Данила в чашку немного бесцветной жидкости:

- Пей, - положил рядом с чашкой яблоко.

- Что это? - понюхала жидкость Даша, - Водка?

- Спирт.

- Я не могу так, надо разбавить, - повертела в руках чашку и, зажмурившись, выпила. - Ох! - выдохнула и быстро задвигала челюстью, обгрызая яблоко.

- Раздевайся, - бросает Данила сухую одежду и, прихватив табурет, выходит в сад.

- Зачем? - выглядывает с веранды Даша, услышав тюканье топора и треск ломаемого табурета.

- Дров нету.

Пока Данила возился с печкой, она, похожая на Пьеро, в белом свитере до колен, ощутив неведомо откуда возникший хозяйственный зуд, поставила на плиту чайник и принялась все подряд мыть и чистить.

- Напрасно ты так суетишься, - ухмыляется Данила. - Бесплезно. Я уже пробовал.

На полу у печки пили чай, ели Дашин пирог.

- Ничего получилось, да? - спрашивала она.

- Ешь, пожалуйста.

Она согрелась, весело бросала в огонь щепки и сумбурно, с каким-то лихорадочным пылом болтала обо всем, что мелькало в ее одурманенной печным жаром головке - про Одессу, "Мистическую розу" и про сражения безумной Брунгильды с клопами, про то, что все это время была счастлива, счастлива до слез, просто так, сама от себя.

- А потом все разъехались и осталась я и еще два мужика - один Боря, ты его должен знать, и еще один англичанин. Нет, вру, еще это было полнолуние. Мы очень душевно выпили при свечах, очень тихо и искренне, потом я пошла купаться, как водится, на рассвете. Все вместе было очень красиво и законченно. Несколько испорчен эффект был только тем, что днем каждый из них заходил ко мне со своими сексуальными потугами - странно, что они не встретились, так как шли одни за другим. К моему глубокому удивлению, оказалось, что я - сама я - могу трансформировать эти их желания во что-то иное - секс отваливается и остается просто контакт - мы можем просидеть полчаса, держась за руку, и молчать - это высший кайф! Но, сказать честно, я была настолько счастлива собой, что даже такие контакты мне были утомительны...

Длинное, гортанное слово, рыкающий Левиафан, пузырь Господень, проснувшись, всплывает, пеня тьму памяти Данилы - какой-нибудь Данилин предок пещерный, вздохнув напоследок, бросал это слово врагу, погибая, в зубастую и вонючую пасть свирепого тиранозавра бросал.

- Вообще, оказалось, что я живу в мире, состоящем из сплошных энергий, рассказывает Даша. - Те же ощущения, что при "рэйки", я испытываю почти постоянно, во всяком случае, очень часто. И с людьми, которые настроены на этот же сорт взаимодействий, происходит что-то такое, не знаю, как называется, что-то вроде разговора.

Помимо воли, царапая горло, рвется забытое, древнее слово, но Данила, стиснув зубы, морщится и спрашивает, улыбнувшись:

- "Рэйки" - что это?

- Это такой энергичный массаж, - и она начинает увлеченно рассказывать про Филис Лей Фурумото, практикующего врачевание посредством наложения рук по методу Иисуса Христа. Темный Левиафан, так и не рыкнув, уходит обратно во тьму.

- Что это? - встрепенулась вдруг Даша.

- Где?

- Словно молится кто-то.

Данила распахнул окно - и в самом деле, по дачной аллее в сумерках идет человек, напевая:

"Качая головой,

Смотри и повторяй:

Вот это ой-ой-ой,

Вот этой ай-ай-ай.

Как прекрасен этот мир -

Посмотри.

Как прекрасен этот мир -

Раз, два, три..."

- Это Коля, - говорит Данила. - Обычно он выходит на перекресток и брызгает водой на проезжающие машины. Странно, что его еще не задавили.

- Он сумасшедший?

- Не знаю. Я пытался с ним поговорить, но он меня боится.

- А зимой я, вероятно, уеду, - говорит Даша. - В Англию. Когда вернуться, сказать трудно, вероятно, через полгода.

- Это правильно.

- Что правильно?

- Поезжай.

- Думаешь, у меня там ничего не получится?

- Получится, если захочешь. Ты хочешь?

- Не знаю. В последнее время я совсем не знаю, чего хочу, - доверчиво смотрит на Данилу, - это паталогия?

- Напротив. Тот, кто знает, чего хочет, хочет каких-нибудь глупостей.

- А ты хочешь каких-нибудь глупостей?

- Я хочу, чтобы ты пожила со мной пока. Пока тебе не надоест.

- Здесь?! - с ужасом восклицает Даша.

- Если завтра дождь не кончится, вернемся в Москву.

- Если кончится, все равно вернемся.

- Как скажешь.

- Знаешь, я часто думала о нас с тобой, - с легким надрывом говорит Даша, - о том, почему все так произошло..

- Я здесь играю в теннис с очень красивой глухонемой девочкой. Ей на вид лет пятнадцать, впрочем, не знаю, я о ней вообще ничего не знаю. Прихожу на корт. Она уже ждет. Улыбаюсь ей. Улыбается. После игры провожаю ее домой. Расстаемся, обменявшись улыбками. Хорошо провожать домой глухонемую девушку - ничего не надо говорить, выяснять, обсуждать...

Легкие пальцы дождя постукивают по стеклу, то чуть слышно, то уверенно, по-хозяйски. Под тяжелым ватным одеялом Даша, всем телом цепко прижавшись к Даниле, жарко шептала что-то про жизнь - про жуткую очередь за выездными паспортами и про то, как утром зашла она в обувную мастерскую забрать туфли, а ее подвели к стеллажам с грудями грязных чужих обносок на полках и сказали: "Ищи сама", - и еще обругали при этом, и про свой смех, который она так и не нашла.

- Что-то сломалось в этой жизни, что-то такое, я не знаю, как сказать, - жалуется Даша. - Словно позади пропасть и впереди тоже, и я делаю шаг, а пропасть отодвигается ровно на длину моего шага, и опять стоишь на кромке, и так жутко, что лучше что угодно, только не это, и я делаю еще шаг, и еще, я бегу и пропасть бежит вместе со мной, и я все время на кромке, и все время шагаю в пустоту, но в самый последний момент словно кто-то подставляет мне под ногу кусочек земли, и я... - и она говорит, и еще сильнее жметесь к Даниле, словно хочет забраться ему под кожу. А за окном все льет дождь, что-то сверкает, и громовые раскаты, как подвыпивший буян, отчаянно стучащий в намертво закрытую дверь, когда лишь бравада выкриков и боль отбитых кулаков удерживает от желания сесть под дверью и тихо заплакать.

"Немножко смешно писать тебе из совсем другой страны, но, по-видимому, наша жизнь не может быть никакой другой.

Я уже целый месяц в Европе, не побоюсь этого слова. Первые три недели я жила в Эссексе, в доме родителей Чарли. Это такое маленькое поместье в английской деревне. Деревня не простая, а со всяческими древностями и классическими пейзажами. Надо сказать, что англичане, в общем-то, довольно незамысловатые ребята, любят кошек и цветочки. Что касается общения, то все оказалось довольно просто - их способ мышления и самовыражения похож на наш, и я не испытывала особых затруднений. Некоторый "культурный шок" был от моего незнания, как обращаться со стиральными и посудомоечными машинами, но и эти технические причуды оказались съедобны.

Потом мы переместились в Лондон и здесь уже было иначе. Первые несколько дней у нас не было определенного жилья - мы были в гостях - и сам по себе Лондон совсем ненормальный - толпы народа всех расцветок и языков, а я, бедная советская девочка, не имею ни малейшего представления, куда и зачем они несутся, что делают и, вообще, что у них за жизнь. Тут-то меня и настиг "культурный шок". Добрая тетя психоаналитик объяснила, что это мое "взбунтовавшееся подсознание". Наверное, это оно и было. Но факт, что я себя ощущала парализованной бабочкой в пустыне - тотальная пустота, полное нежелание что-то делать, жить, дышать, умирать - ничего. И глубокое ощущение внутри, что нет на этой земле места, где я могла бы существовать. Так продолжалось дней пять. Потом я слегка очухалась и буквально насильно стала совершать первые шаги, типа: назначить прием у стоматолога, купить простые предметы, выпить кофе в баре. Но сегодня я уже самостоятельно блуждаю по Лондону и нахожу это весьма приятным. Приятным - не то слово - очень многое происходит внутри меня, даже если я просто иду бесцельно от улицы к улице - сам факт другой реальности, языка и левостороннего движения - на все это требуется время, чтобы осело и прижилось в организме.

Что касается моих планов, пока что сказать трудно. Я еще не готова к тому, чтобы работать здесь, да я и не уверена, что хочу это делать. У меня совершенно отчетливое чувство, что здесь совершенно такое же общество, как в Союзе, разница лишь на поверхности - те же замкнутые мирки со своими узкими законами, и я запросто могу стать частью одного из таких мирков - "присоединяйтесь, барон, присоединяйтесь" - вопрос, хочу ли я? И что вообще делаю в этой жизни?

Словом, пора раздумий. Придумаю - напишу еще. Это здорово, что я могу тебе писать. Целую. Дашка."

"Очень приятно получать твои счастливые письма - это ужасно способствует - Боже, русский дается мне с трудом! - короче, способствует всему.

Вообрази-ка себе юную леди в городе Лондоне - это я - только добавь, что я стала более блондинкой и одета в их шмотье - достаточно самоуверенная такая леди, более чем, которая сама себя содержит, в смысле денег, что для меня ново. Пять дней в неделю леди работает - два дня переводчицей и три дня официанткой в греческом ресторане, а оставшиеся выходные тихо безумствует,

танцую до упада, мотаюсь по городам Зеленькой Англии и пробую разные экзотические штуки. Короче, все у нее в порядке, а если и дальше будет она хорошей девочкой, гражданство английское получит, а если уже совсем хорошей, то будут у нее детишки англичанские и прочие английские радости.

И тут-то леди - я то есть - как только запахло в воздухе большей близостью и вовлеченностью в чью-то жизнь, стала взбрыкивать ножками в разные стороны, плевать и говорить: "Нет, мама, не хочу я этой манной каши с клубничным вареньем! Хочу, чтобы было трудно и ветренно!"

Ну вот, опять сопли текут - простудилась потому что в этом гнусном городе, где солнце бывает пятнадцать минут раз в две недели. В общем понимаешь про что "спич"? Про свободу и осознанную необходимость.

Сию я в пабе, пью джин с тоником и все это переживаю. Жизнь, однако, очень странная штука: меня родили, выпустили на волю, а что делать - забыли сказать. Вот и мотает бедную птичку из стороны в сторону, из одной страны в другую. Короче, обнаружила я две грандиозные проблемы.

Первая грандиозная. Все человечество живет парами. Я тоже склонная в парному образу жизни, но оказывается в определенный момент некая сущность во мне начинает бунтовать и я не могу удержаться, чтобы не сказать: "fuck off" - я хочу свободы, хочу порхать с цветка на цветок, хочу, чтобы было легко и непринужденно-весело. Я это проделала с тобой и за этот год еще с двумя людьми. Это какой-то кошмар: одни и те же сцены, одни и те же слова и жесты, как сюрный фильм без героев и поступков, голые эмоции в разнообразных интерьерах. Кажется, это не лечится, что-то есть во мне, какая-то эмоциональная дыра: приходит сезон и я становлюсь бесчувственной и жестокой, как кремь.

Вторая грандиозная. Все эти альтернативные жители земли, типа тебя и Чарли, - милые они ребята, но уж больно бестолковые во всем, что касается реальности (хотя, кто знает, что такое эта самая реальность). Оставшаяся же часть человечества довольно толкова, но безобразно банальна и несчастлива. Это особенно заметно на Западе, где каждый выжимает последнее из себя и окружающих, делая "баксы", сжав зубы, отказывая себе во всем и напиваясь до одурения в пятницу вечером, дабы снять стресс и напряжение недельной суеты. Беда в том, что я - Дарья Шульгина, 1966-го года рождения - не хочу и не могу быть ни тем, ни другим. Точнее, я хочу быть и тем, и другим в одно и то же время, а это не

получается по природе вещей. Я тут со всякой публикой переобщалась, начиная от чудовищно успешных деятелей в разных сферах, и кончая безнадежными БОМЖами. БОМЖи весьма жизнерадостны, но я такой никогда не буду - амбиции не позволяют. А те, которые упакованы в бассейны и спортивные автомобили, живут на ходу, безостановочно - ход этот весьма элегантен, но куда идет поезд? И зачем?

Глупо, наверное, делится с тобой моими соплями, зато честно и по-правде. В середине июня я буду, как большая, переводчицей на конференции, заработаю денежки и поеду в Индию. Наверное, через Москву. Хотя, можешь представить мои планы - сплошная видимость. Скорее всего я буду в Союзе в августе. Все лондонские девочки носят черные колготки и пиджак сверху, у многих проколлот нос и вставлена золотая серьга - ужас! - я пока не рискую. Целую. Дарья."

Аркадий СЛАВОРОСОВ

Опыт Сравнительной Танатологии

"Несмотря на то, что жизнь коротка и обосрана, как детская рубашка, она прекрасна и удивительна, как Рождественская открытка."

Алик Сюсю

1

Цикада и цикута излечат от тоски,
Которую внушают вишневые соски,
И ноги - дольше жизни -
Пока снимаешь джинсы,
И шерстка на лобке,
И парус вдалеке.
Но все под хор цикад
Излечит горький яд.
Ноль будет ноль - в квадрате,
И им же будет - в кубе,
И что ему в Гекате?
И что ему в Гекубе?
Цикада будет петь,
Цикуту станем пить,
Вот только бы успеть
Еще косяк прибить,
Еще разок курнуть -
И в Понте утонуть...
Так думал древний грек,
Глядя на сонный берег.

2

Я, раб своих привычек,
Под кличи электричек
Мечтаю о Сезоне
В проклятой третьей зоне.
Я правду резал в лоб,
Иллюзий не питал:
Здесь только жирный клоп
Да фенобарбитал.
И никаких цикад,



Купим табака, чтоб прибить косяк,
Чтоб наискосок, наперекосьяк,
Через лес и сад, через огород, через город
вброд (и наоборот), через шею, грудь,
неподвижный взор, лоб, слезу, висок:
только не назад,
я - не Экцельсьнер!
Я тебя люблю,

маленькая Энн -

Маленькая боль. Дырочка - как ноль.
И в нее свистит

блататной сквозняк,

Прямо сквозь висок (прямо, как в свисток).

У тебя дозняк - и везет возок

По распутьям вен, и ползет возок

По излукам жил.

- Разве до Рождества Твоего кто-то на свете жил? -
артерий и аорт.

Всех друзей - на борт.

(Где они - друзья?... Просто каждый - брат).

Так-раз-этак в рот.

Протестант Шарден и католик Барт

Дремлют у руля, зря Нетварный Свет.

Падает листва.

Сколько пустоты, сколько высоты.

Никого. Нигде. Только я и ты.

- Нет, любимая, нет, только - Ты, все - только Ты! -

Едем не туда.

Невзначай и вдруг.

Мимо стен и сцен.

По пустой воде, вслед простой звезде.

Мы попали в плен, завернули в круг.

Если "до", то "от", если "от", то "до" -

Through Out the Door.

Выход по рублю.

Маленькая Энн,

я тебя люблю.

Сергей ЕРЫШЕВ

Светлая родина -
 темное счастье...
в каждом саду подвенечное платье.
Все я не дома -
 мотаюсь где-либо,
каждой развилке: большое спасибо!

Русское имя и паспорт советский
бросил я в темный колодезь по-детски.
Дождь прошумит,
 пискнет крыса -
 все новость,
что за республика,
 где эта область?

Что там кричит перелетная стая,
дол оглашая от края до края?
- мы улетаем на север гнездиться,
ты же другая, ты - встречная птица,

гонят тебя, горемыку, на юг
Инна Хотькова и Алла Грязюк...

* *
*

Ну конечно, пройдет пять иль шесть долгих лет,
ты придешь, а меня в этом городе нет.

А тебя приведет путеводная нить,
Даже если названья всех улиц сменить.

Если вырастить лес,
 если поле вспахать,
трижды плюнуть и трижды о стол постучать...

Все равно ты придешь, все равно быть беде.
Постучишь и откроешь,
 но люди не те...

Все расскажут, как, тронувшись малость умом,
за понюх табаку я отдал этот дом,

что еще побродив в наших бедных краях,
я свернул на проезжий накатанный шлях.

Не поверишь, полезешь, как встарь на чердак
- словно мумия, тихо лежит там гамак,

жжется цинковый таз, точно солнце само,
ссохся трупик птенца,
 ссохлось птичье дерьмо...

Если хочешь, спустишь, тебе скажут, в подвал
- там его еще сроду никто не искал,

там мышинное царство, там плесень одна,
там в бутылках томятся запасы вина.

Ты спустишь, чтобы сделать хороший глоток,
я и сам бы не прочь, несмотря на зарок.

Но прошло пять или шесть, или семь долгих лет
и меня в этом городе нет, просто нет.

* * *

*

Не посадить, не расставить друзей,
и не спрячется враг.
Так входи сюда как в музей,
Или как на ладью варяг.

Где-то здесь есть течение Гольфстрим,
и тоской ледяной обуян,
я налью тебе чаю стакан...
Так о чем мы с тобой говорим?

На ночь глядя, куда плывем?
Сквозь неон, за пургу-метель.
Повела молодым плечом,

приказала стелить постель.

Как у полуострова Флорида -
рыбки неземного колорита
ходят, водят плавный разговор,
раздувая в ребрышках костер.

Как у полуострова Шпицберген -
волны лезут стенкою на стенку,
и волна смеется над волной...
Стихотворец обзаводится женой...

* *
*

К югу птицы клином улетали,
передрались голубь с воробьем.
Листья желтые и красные кричали,
черный пруд покрылся синим льдом.

К ночи пар свивался в злые прядки,
выплыла колючая звезда,
ты дышала чем-то винным, сладким,
нос холодный, челка да уста.

Приняла меня за толстосума,
глазом не моргнув, свела с ума.
Я наверно все опять придумал
- все румяна, мирра и сурьма.

Все пойму -
заплачу над собой.
Зарычат в берлогах зимних звери:
Не ходил бы, варвар молодой,
к светлокудрой ласковой гетере,

ее речи для Славена жарки,
холодна ромейская душа,
не носи ей красные подарки,
жги костер.

и мясо ешь с ножа.

* *
*

Печальную пытку продолжить -
забытые думы вернуть.
Всю ночь провалиться на ложе
пуховом,
но глаз не сомкнуть.

Придумать дела, как причину,
чтоб безотлагательно в путь
с утра делового мужчину
собрали.
И жить как-нибудь...

Как лист от родительской кроны
струей бесшабашной влеком,
он падает в тамбур вагона...
быть может, уже далеко.

Лишь мысли держать в беспорядке,
лишь слышать - колеса стучат,
и видеть мельком, как на грядке
стегают шальных поросят.

* *
*

Коли хочешь, пей и ешь от пуза,
говори приятные слова.
К рыбаку ночами ходит муза -
рыбка - синеокая - плотва.

Не звенеть в опочивальне свету,
солнцу от любви не зачерпнуть.
Сосчитал карась свои монеты,
сундучком указывая путь.

Зарывай чешуйки в тину, князь!
Цель точнее, трепетное жало!
Пусть сияет на древке карась
кубком драгоценного металла.

ПОЖЕРТВОВАНИЕ

Еще полслова и словечко,
вот все, что было,
решено!
Ты держишь обручальное колечко,
в начале века сделано оно.

Старинный сплав, чеканка царской пробы...
Социализм, все сожжено дотла,
прабабкино колечко вынем, чтобы
рыдали на Руси колокола.

От этого нам станет веселей,
под нами твердь,
над нами купол синий.
Идут, поют: раб божий
- Алексей,
С рабою божьей
- девкою Аксиной.

Тахар БЕНЖЕЛЛУН

Перевод с французского Станислава НИКОЛЬСКОГО

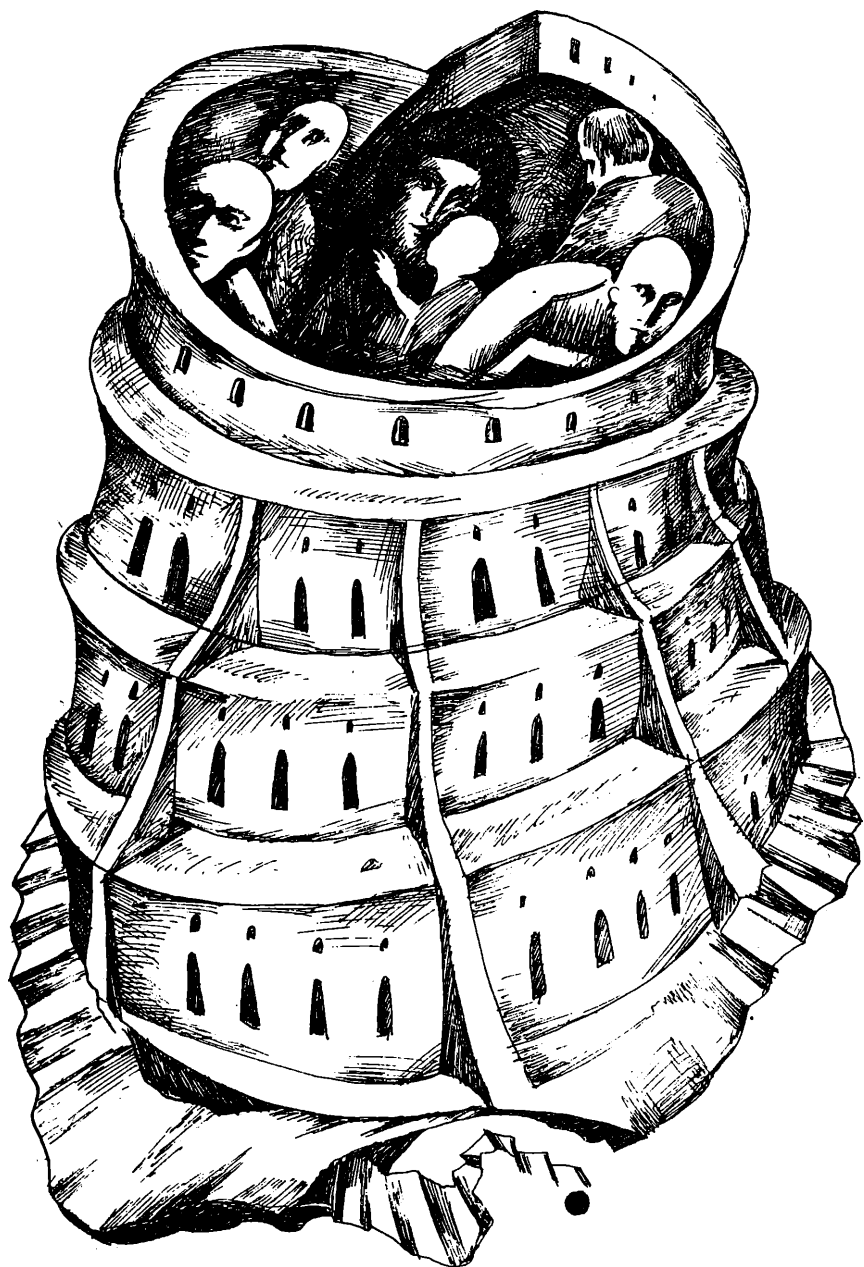
ТАМ, ГДЕ ЕЩЕ НЕ ВЛАСТВУЕТ ОТЧУЖДЕНИЕ

(Предисловие переводчика)

В эпоху всеобщей коммерциализации литература становится все более типизированной: развиваются не столько жанры, сколько серии, рассчитанные на определенный тип потребителя. Исчезает чтение, как вид духовной деятельности, интеллектуальное занятие для непрофессионалов; разрушается общение между читателем и писателем - краеугольный камень словесности; искусство становится отраслью индустрии развлечений. Между тем культура не может быть окончательно поглощена цивилизацией (здесь ошибка Шпенглера). Она просто отдает пространство, занимает оборону, ищет почву, где можно укорениться и собрать силы. Пограничные области (Латинская Америка, Ближний Восток, Индокитай), области, где сталкиваются традиции, остаются оазисами органической жизни в наш механический, штампованный век. Органическая жизнь - растительная, животная, бытовая, хранящая память рода - отнюдь не всегда духовно или интеллектуально насыщена. Однако только отсюда возможен прорыв. Трагедия возникает там, где простое встречается со сложным: борьба привычного уклада и космополитического порядка "эры новых технологий" определит основные характеристики экзистенциальной ситуации, в которой окажется каждый. И словесность остается подспорьем на путях исхода, сколь бы ни мечтали агенты вселенской энтропии превратить ее в игру или в чтиво.

Мы предлагаем читателям "Ъ" познакомиться с творчеством марокканского писателя Тахара Бенжеллуна, лауреата Гонкуровской премии, одного из самых заметных литераторов, работающих сегодня с французским языком.

Тахар Бенжеллун живет в Париже, живет носальгией (как ни странно нам это слово по отношению к не-России) и целиком принадлежит культуре Магриба. Двухязычная Северная Африка в культурном отношении очень интересная зона. Перекресток мира с древности, земля финикийских колоний и самой прославленной из них - Карфагена, она была вечной провинцией - провинцией



эллинического мира, Арабского халифата, Османской империи. Культура Алжира, Туниса и, особенно, Марокко на редкость мистична и мифологична - это не просто окраина исламской ойкумены, это ее прирубежье со всеми возможными и невозможными последствиями. Кроме того, - пустыня, всегда дающая свободу и предлагающая уединение. Земля тайны и таинства. С другой стороны, Северная Африка (Магриб и Египет) - тот самый цивилизованный Юг, который уже несколько десятилетий тщится угнаться и пытается противостоять сытому европейскому Северу. Очевидно, что многие социокультурные проблемы этого региона перекликаются с насущными вопросами нашей жизни. Однако дело не только в том, что реалии в рассказах Бенжеллуна будут близки и понятны жителям посткоммунистической России (еще К. Леонтьев обращал внимание на общность исторических судеб народов Российской и Османской империй), даже не в том, что марокканский писатель (на основе опыта постколониального сосуществования арабских стран с "цивилизованной" Европой) способен несколько вправить нам мозги, прояснить положение; гораздо существенней, что соединение фантазмагии и реализма, столь свойственное французской литературе, с возвышенной поэтичностью и благородством литературы арабской, создают неповторимое очарование Бенжеллуна, а мир, вырастающий из его текстов, позволяет жить среди вещей и чувствовать дыхание вечности. Поэзия и проза для Тахара нераздельны: он преодолевает классификационные перегородки европейской словесности 19 века, как при помощи модернистских приемов, так и на путях, присутствующих уже скорее мифотворчеству. Впрочем это вообще характерно для искусства, занимающегося чем-то существенным и существующим, а не вечной проблемой отчуждения.

Мы приглашаем читателя в пространство мифа со смещенным центром и размытыми контурами, ибо "все, что случилось и случится, написано на этих обнаженных склонах".

Тахар БЕНЖЕЛЛУН

МИНДАЛЬНЫЕ ДЕРЕВЬЯ ГИБНУТ ОТ РАН

Письмо

УЙТИ КАК ОНА

Ты знаешь, вчера умерла бабушка. Она ушла утром, на рассвете. Счастливая и прекрасная. Со звездой во лбу и с ангелом за плечом. Ее последний взгляд был - тебе. Она сказала даже, что сегодня солнце согреет твои холодные руки, там, далеко от Родины, и надо бы, чтобы ты женился. Она улыбнулась и унеслась на коне. Думается, что это был крылатый конь. И мы увидели с нашей террасы, как небеса, распахнувшись, приняли в свое лоно маленькую звезду. Она видна отовсюду. Нам тебя не хватало. Это был прекрасный праздник. Мы выполнили ее волю: не плакали и не стонали, когда гроб проплывал мимо дома. Мы зажгли благовония, мы дышали ароматом рая. Сад, где она любила молиться, был весь в цветах.

Ты помнишь, как она замолкала между двумя молитвами: каждая морщинка воплощала нежность. Нам остается безмятежность и ясный свет этого дня. Ее омыли и надушили розовой водой и жасмином. Она любила свежесть. Ее завернули в то покрывало, которое она купила давным-давно, быть может еще до того, как ты родился. Она его душила перед каждым праздником. В то самое покрывало, которое она на три дня и три ночи посылала в Мекку. Она не умела писать и рисовала на этом полотне розы и звезды. Она любовно хранила его в глубине своего чемодана.

Ты помнишь? Она говорила нам:

- Я хочу предстать перед Пророком в своем лучшем платье. Его свет, его ясность, его красота заслуживают счастья умереть. Я жила счастливо в тепле ваших объятий, ваших рук. Я потеряла своего мужа и своего самого красивого ребенка - цветок, вырванный августовским солнцем. Но я никогда не чувствовала себя вдовой. У каждого из вас был мой дом, мой очаг. Теперь у меня другая радость - я скоро уйду в сад Господа, туда, совсем близко от Солнца. Я родилась давно, задолго до прихода христиан. Подсчитай, получится почти целый век! Старость! Но кто говорит о старости? Если бы только немножко не устало сердце... Ну так что я!... Пусть она приходит, смерть, но лазурь, а не пепел."

Она умирала не в богадельне и не в одинокой тихой комна-

тушке в конце коридора. Она угасала кротко и нежно, здесь, у себя, дома, у старшего из своих сыновей.

АРАВИЯ... АРАВИЯ...

Как говорило животное, которое умело говорить: "Человечество - это предрассудок, особенно если искать его в тех местах, где солнце приближается к пескам и легендам, к святым и священным узам, а земля или всепрощение становятся праздником высокого штиля".

Кто в это поверит? Пустыня - это ли не поэма? Это тоже предрассудок, картинка, нарисованная неоном над недостроенными домами, на перекрестках улиц без тротуаров. Это бледное воспоминание на лбу облака, заблудившегося в небе, там, где скучают звезды.

Езжайте в Аравию и попробуйте постичь пустыню, которую называют торжественной, но пустой. Она удаляется, извиняясь, так как она больше не достойна легенды: ни льва, ни тигра, ни даже чахоточной кошки. В ее венах, как тайна, течет нефть.

Тогда поворачиваемся лицом к морю. Оно скромно омывает пески Джеддаха. Порт? Кто в это поверит? Ветерок гонит пыль цвета охры через весь город. Подходим. Протягиваем руку и смотрим. Вода утратила цвет. Вода Красного моря уходит: Она больше не сомневается, у нее здесь нет любовников.

Но город открыт. Ни ворот, ни ограды. Каждому - своя улица, своя часть шума и света. Чистейший свет. Хотелось бы, чтобы он был нежным, но он слишком ярк. Закат пустыни, отречение моря, это в то же время и агония традиционных домов, конец народной архитектуры, которая, хоть и запиналась, но была гарантирована от уродства. В этом пространстве, где все импортировано, и особенно уродство, исчезает мечта. Стираются мечты ни на что не похожей Аравии, черты прекрасные и возвышенные, сохранившиеся только в местах уединения и молитвы. Еще возможно чувство в простоте и тишине мечетей. Но вторжение чувствуется и здесь: бетон и пластик, ковры и автомобили. Не все равно какие автомобили, но огромные американские чудовища, которые мчатся на полной скорости в какофонии гудков, заменяющих здесь сигнализацию и правила дорожного движения. Безумная пляска этих машин должна заставить забыть былую беспечность и восторжествовать над вневременным спокойствием караванов...

Но в этой империи, взбудораженной воплощением мечты в

металле, смятенной невиданным богатством и зачарованной западными миражами, есть еще место для созерцания. Пророк Мухаммед сказал: "Седлайте ваших коней только для того, чтобы отправиться к трем мечетям: к моей, к мечети в Мекке и к мечети в Иерусалиме". Мечеть Мухаммеда - это Медина. Весь город укрыт под сенью его памяти: он бережет себя от шатких взглядов и неверных рук. Это город, где утверждается тишина, маленькое блуждающее облачко и поводья судьбы. Машины не смеют вторгнуться в лабиринт, где дети бегают, хохочут и, радуясь, исчезают.

Странная империя, где пять камней остаются верны полудню, где современность властно влечет к неожиданному могуществу, а всякая революционная мечта отвергается как святотатство.

РУКА И ЗАТЫЛОК

И рука, отяжелевшая от морщин и голубой крови поэтов, падает на затылок фруктового сада, убежища маленьких солнц.

Она отсекает жизнь безумца, который испил от небес. Между большим и указательным пальцем хрустят звезды, свернувшиеся на затылке; и старик, не смущаясь и не краснея, выстраивает головы в ряд, точит правую руку и лишает жизни тела. Его подлюга-память, промытая свежей кровью радуги, поднимается из могилы со своей искусственной челюстью слоновой кости, со взглядом, приносящим смерть, с дыханием, пронзающим грудь тем, кто встал со сжатыми кулаками.

Со сморщенными ягодицами он садится на теплые черепа, и так с него спадают морщины, когда он испражняется на рассвете. Его тень гремит барабанной дробью в сердцах детей, которые цепляются за облака, превратившиеся в птиц, утративших нежность трав.

Его рука, став легкой, хохочущим орлом взмывает под облака. Она ниспадает огненным дождем на страну, которая движется вперед в то самое время, когда в объятиях смерти жабы пожирают младенцев.

ЧЕЛОВЕК, ПРИШЕДШИЙ ИЗ ДРУГОГО ВРЕМЕНИ

У него смуглая кожа, вьющиеся волосы, большие мозолистые руки, почерневшие от работы. Когда он улыбается, на лбу обозначаются частые морщины. Ему сорок лет, может быть чуть меньше.

Этот человек, одетый в серое, сел в метро на станции Денфер-Рошери и едет в сторону Порт де ля Шапель.

Откуда он? Бог весть. Его лицо, его жесты, его улыбка, все говорит о том, что он не отсюда, впрочем, это и не турист. Он пришел с другой стороны, с другой стороны гор, с другой стороны морей. Он пришел один. Отклонение от жизни. Отклонение, которое длится уже почти семь лет. Он живет в маленькой комнатке, на восемнадцатом. Нет, он не грустит. Он улыбается и ищет на лицах пассажиров след понимания, знак.

"Я такой маленький в своем одиночестве. Но я смеюсь. Послушай, я ведь не побрился сегодня. Но это неважно. Никто на меня не смотрит. Они читают. В коридорах они бегают. В метро они читают. А я что же? - я останавливаюсь в коридорах. Я слушаю, как поют те, кто еще молоды. Я смеюсь. Я шучу. Я хочу поговорить с кем-нибудь, все равно с кем. Нет. Они примут меня за нищего. Что такое нищий в этой стране? Я их здесь никогда не видел. Люди выходят, толкаются. Другие входят. Мне кажется, что все они на одно лицо. Я хочу поговорить с этой парой. Я сяду напротив них, там свободное место, и скажу им что-нибудь приятное: Ааааааа..... Моаааааа..... Ооооооо.

Они испугались. Я совсем не хотел, чтобы им стало страшно. Женщина сжимает руку мужчины. Она считает станции по схеме. Я улыбаюсь им во весь рот и повторяю: Ааааааа..... Моааааа... Ооооо..... Они пересаживаются в другой конец вагона. Я совершенно не хотел выводить их из себя. Меня начинают разглядывать. Говорят: какой странный человек, откуда он? Я смотрю на их лица. Ничего. Усталость. Я жестикулирую. Я улыбаюсь и говорю им: Ааааааа..... Моааааа..... Ооооооо.... Он сумасшедший. Он пьяный. Он странный... Он может быть опасен. Здесь что-то не то. Какой это язык? Он небрит. Мне страшно. Он не отсюда, у него вьющиеся волосы. Таких надо сажать.

Что он хочет сказать? Ему нехорошо? Что он хочет?

Ничего. Я ничего не хотел сказать. Я хотел поговорить. Поговорить с кем-нибудь. Поговорить о погоде. Поговорить о моей стране: сейчас там весна; запах цветов; зелень; глаза детей; солнце; гнет каждодневных забот; безработица; нищета; от которой я бежал. Можно было бы пойти, выпить кофе, поменяться адресами...

Постой, это контролер. Я вынимаю свой билет, вид на жительство, служебное удостоверение, паспорт. Это машинально. Еще я вынимаю фотографию своих детей. Их трое, и все они прекрасны, как солнышко. Моя дочка - маленькая газель; у нее глаза, как алмазы. Мой старший ходит в школу и забавляется с облаками. А младший интересуется овцами.

А показываю ему все. Но он делает дырку в билете и даже не смотрит на меня. Я хочу с ним поговорить. Надо, чтобы он на меня посмотрел. Я кладу руку к нему на плечо. Я ему улыбаюсь и говорю: Аааааа.... Моаааааа.... Оооооо..... Он крутит пальцем у виска и отворачивается. Я встаю и смотрю на свое отражение в стекле:

Ты сумасшедший. Странный. Опасный? Нет. Ты просто один. Невидимый. Прозрачный. И поэтому все проходят сквозь тебя.

У меня больше нет воображения. Завод не остановится. Над городом всегда будут облака. В метро всегда будет железное безразличие. Это грустно. Мечта, это в следующий раз. В конце месяца я пойду на почту и пошлю перевод своей жене. В конце месяца я не пойду на почту. Я вернусь домой."

Он выходит на конечной, и, руки в карманах, не спеша идет вверх.

* *
*

Тебя нет
даже птицы пьянеют от боли
тебя нет
ты рукой на закате ласкаешь мой радостный смех
став алмазом, слеза
блестит над ресницею дня
и твой лоб
я рисую лучами
как ты смотришь
на вольнобегущие волны
это вечер песка
только тело мое устает ликовать, точно зеркало в танце
и я вспоминаю

ты помнишь,
дитя чуткой и нежной газели,
что она бормотала, мечта
ее зыбкое пенье
одиночества ветер осенний в закрытом пространстве
я просил
встань босыми ногами на мокрую землю
дерево
светлая улица

так возвращается память
и под взглядом твоим
поет горизонт

перебирать эти длинные волосы моря
рукою коснуться затылка
как ты трепещешь
в зеркале сильного ловкого тела
облако
голое
несет тебя в сад посеребрённых деревьев

как была та весна открыта бездонному небу
мне она подарила ребенка
ребенка, которой так плачет
осколок звезды
желанья мои покидают этот мерцающий день
я их собираю, как листья бумаги
и прячу безумие
у одиночества в скалах.

* *
*

Белизна разлуки
как далекая смерть
в этот день звезда забвения
опустится на влажную траву моей смятой памяти

Я вижу как ты поешь по утрам
дитя песков

Мне птица твердит:
она будто бы гласная ее нужно звать тихо и нежно
меж смехом и помыслом
если твой взгляд умирает
дай солнцу ласкать тебя пальцами сильной надежды
дай мечте покачаться в мечтах остывающей ночи
собери эти звезды которые больше не небо
да будет рука твоя плодоносящей в тот час, когда думаешь ты
о крепости хрупкого тела

Затмение
и тишина
изнуренных камней

ДЕВОЧКИ ИЗ ТАНЖЕРА

У девочек из Танжера на каждой груди - звезда. Сообщницы полночи и ветров, они живут в развалинах на берегах нежности. По соседству с солнцем у них есть сад. Сад, спрятанный на рассвете, где-нибудь в старом городе, где сказители мастерят лодки для огромных птиц из легенд. Девочки заплетают золотые ленты в свои непокорные волосы. Они прекрасны, как пламя, разрывающее одиночество, как желание, приподнимающее ресницы ночи, как длань дающего, как сами дары - плоды морей и песков. Они идут в город воплотить дневной свет и дать напиток людям, подвешенным к облакам. Но город двулик: одно лицо, чтоб любить, другое, чтоб предавать. Тело - это лабиринт, вереница следов газели, укравшей мед с губ ребенка. Сиреневая повязка на лбу, цвет, призванный помешать ночи оставить свои письма на нетронутом теле. Безымянный цветок, зажатый камнями. Цветок без запаха, который зажег огонь под покровом смятого дня. То пространство меж губ, откуда исходит музыка, заставляющая плясать зеркала. Девочки, спустившиеся с соседнего холма, обнаженные под покрывалом небес, вкушают от спелых плодов. Очистки спадают на полотно. Полотно превратится в ручей. Девочки - это сирены, которые занимаются любовью со звездами. Девочки из Танжера проснулись этим утром. Песок на груди. На скамейке городского сада. Сиротство. Оставленность. Никому не нужны.

ДЕВОЧКИ ИЗ ТЕТУАНА

1. Топография одиночества

У девочек из Тетуана белая и нежная кожа. Черные глаза. Скромный взгляд. Спокойные движенья. Сдержанная речь.

Жить в Тетуане - значит быть в согласии: в согласии со спокойствием моря здесь, по соседству; в согласии с тем, что было и должно пребывать всегда; в согласии с миражами письменной речи; это место, где следует признать сдержанность, скупость в словах и поступках.

Жизнь проходит через обитателей этого города под нежный

мотив и бормотанье ручья. Событие - это поворот. Эти белые, хрупкие тела переживают событие сквозь пелену мимолетного дыма. Небольшое синее облачко остается где-то на уровне деревьев. Вот и все. Подует ветер. И унесет маленькое синее облачко. Шум распадается на пороге. Его больше нет. Пышность и роскошь - это где-то в других местах. Но в то же время здесь постановили, что всякое насилие чуждо топографии города.

Улицы прорисованы так, чтобы известить или, по крайней мере, приручить саму возможность насилия. Выбеленные известью стены сохраняют в своем сиянии немного от синевы небес. Эта синева, которая вкрадывается в белизну, как в тишину - рокот морского прибоя, в предвкушении лета покоряет детские сны. Об этом говорят везде: на отрогах гөр развешана ткань Судьбы - все, что случилось и случится, написано на этих обнаженных склонах. Те, кто мечтают достичь вершин, не умеют читать письма на камнях. Страсть здесь редка, как безумие. Никто даже не говорит таких слов. От них ускользает плоть, и они бредут между отвергнутым насилием и глубоко запрятанным желанием. Но в самую лучшую ночь будет ветер. Очищенный город. Вновь побеленные стены. Камни гор вслушиваются в этот покой. Облака теряют свою синеву, но небеса разверзнутся где-нибудь там, над морем.

Говорят о белой голубке.

Рисуют голубку, слегка касающуюся маленького голубого облака. Это свет. Явный знак нашептанного сладострастия. Несколько листьев, бежавших небес, ищут тела, могилу. Обнаженные руки, обнаженные голоса. Это странствия потока нежности по разрисованному телу земли.

Когда затихает шум, выходят женщины. Море, затаенное во взгляде. Каждый шаг рисует линию бедер; звезда, без всякой добычи, течет к сухому руслу реки. Это гибель пчелы в меду: ошибка. На цыпочках пересекают женщины широкие аллеи одиночества. Мужчины, сидящие в кафе, ласкают взглядом и обсуждают их ягодицы. Солнце возвращает нам эти чистые лица в тихих мечтаниях. Говорят, что эти тела были созданы из слова и глины. Они вернутся в глину. Теперь они поют и до белизны начищают разлуку. Они хранят в себе ложь обещаний и предпочитают нежность ласк. Действительно, ласка - это бегство. Мужчина уходит. Что поделаться, дела.

Бесплодное, праздное тело.

Любовь. Научиться любить свое одиночество. Научиться прятаться в ту скалу, где хранится нежность. Нарушить зависимость,

чтобы обладание стало отражением прозрачности. Любить - это постоянно прославлять встречу двух одиночеств, праздновать каждодневное снятие всех границ, их возможное воплощение в поэзию и смерть. Знать, что ты покинут звездами и волнами; любовь, дружбу переживать как страстную нежность. Женщинам из Тетуана, увы, знакомы только потери. Их женское существо теряется в том мирке, который мужчины захотели создать для них. Лишенные своей самобытности, они изнуряют себя забвением. Вот почему женщины из Тетуана удаляются без шума, без того, чтобы что-нибудь разбить там, в сумраке своих одиночеств. Супруг - это тот образ, который рассыпается в кафе или мужском клубе (испанском казино), где, ради того, чтоб напиться вдаль от торонних глаз, спускаешься в погреб. Мужики там трепяты до потери пульса и валяются, как мешки с песком, прямо возле своих табуретов. Вечером официант подбирает их и пытается доставить домой. Но женщины уже спят. Они удаляются, чтоб мечтать.

2. Пенорожденная

Она - королева нимф. Она заточена в хрустальную клетку мужчиной, своим мужем. Но ночью она проходит сквозь прутья хрустальной решетки и спешит на большую площадь Феданны, освещенную мощнейшими прожекторами. Ее вытянутое тело ждет. Ее нагота будет принадлежать мужчине или зверю, который сумеет ее удовлетворить. Пьяные мужики, которые выходят из подвалов казино, сторают, едва приблизившись к ее телу. Они убегают в ужасе, узнав о грозящем проклятии. Тело, страдавшее от отсутствия любви, превратилось в раскаленные угли. Королева не ждет больше в Феддане; ее похитил неизвестный зверь, пришедший, конечно же, с отрогов Рифских гор. Они, счастливые, живут в гроте.

Она - пенорожденная, но не совсем сирена. Она дремлет на берегу, убаюканная бормотаньем своих мыслей. Мимо проходит мужчина, рифский горец. У него смутлая кожа. Цвет почвы. Он останавливается и встает на колени рядом с этим телом, погружившимся в грезы. Не говоря ни слова, он кладет свои руки, выточенные ветрами горных вершин, на ее белую и твердую грудь. Она начинает просыпаться. Он целует ей подмышки и чувствует запах роз, потом стремительно срывает с нее одежду и входит. Женщина молчит. Слишком счастливая, чтобы говорить, она смотрит на небо.

3. Перед зеркалом

Ей сказали, что девушка должна оставаться девственной до прихода мужа. Еще ей сказали, что надо остерегаться нежных взглядов и ласковых слов. Ей сказали, чтобы она никогда не смотрела мальчикам в глаза и уж тем более не заговаривала с ними. Ей рано представили чертеж мира: Добро с одной стороны, Зло с другой. Она должна всегда оставаться на территории Добра и будет защищена от порока и стыда. Ее дом, ее семья, ее родители - они пребывали на этой стороне. Вот почему им неплохо живется и их все уважают. С другой стороны, там Зло и так далее... Секс, сигареты, алкоголь, удовольствия... Это ночь. Это отсутствие звезд. Там не знают ни Бога, ни Мухаммеда, его пророка. Семьи теряют честь и живут под проклятием Господа и людей.

Она стоит у окна и смотрит, как идут люди. Время от времени она видит: улицу переходит пара. Они держатся за руки; порой женщина идет сзади. Мальчишки-бездельники фланируют в одиночестве. Кое-кто из них смотрит наверх, на балкон, но не замечает девушки. Когда приходит ночь, она запирается в ванной. Она запирается и долго рассматривает свое тело в зеркале. Она вертится перед зеркалом, распускает волосы, красится, снова вертится и любит себя. Она закрывает глаза и позволяет своей руке ласково скользить от шеи к лобку. Нежная запретная сладость. Потом приходит горечь. Разочарование. Попросту стыд, чувство вины. Девочка смывает макияж, одевается, собирает свое одиночество в ладонку и бросается в кровать, чтобы вернуться в царство своих теней. Она идет на балкон и выбирает мужчину, который положит руку на ее тело в зеркале. Это тело проводит время в ожидании и томится в зеркале, пока мужчина из хорошей семьи, мужчина, который работает и хочет иметь очаг, не пришлет свататься своих родителей. Он еще не знает ее, по крайней мере по настоящему; ему только говорили о ней, ему ее хвалили. Чтобы он смог ее увидеть, ему дают ее координаты, то есть рассказывают, где она обычно гуляет одна... Он ее увидел первый раз на пороге лица. Он был за рулем своей машины и делал вид, что кого-то ждет. Он только мельком видел ее.

Как раз то, что ему надо: сдержанная, скромная девочка, не интересуется ни модой, ни политикой. Все ясно, выбор сделан. Она будет хранительницей домашнего очага. Никакого диплома

не надо: она займется домашним хозяйством. Ей ни к чему работать в каком-то офисе, общаться с другими мужчинами. В свадебное путешествие они поедут в Испанию. Девушка может отказаться, ссылаясь на желание закончить учебу.

Помолвка. Время любви, укромных поцелуев, прогулок на машине и возвращений как раз перед обедом. Любовь, как в киноромане.

Подготовка к свадьбе. Подарки к празднику. Кольцо или браслет. Свадьба - это праздник, на котором мать оплакивает разлуку. У нее забрали дочь. Ее забрали для другой постели, для другого одиночества.

Девочка теряет девственность, с чем и поздравляют ее мужа.

Основана семья. Ждут детей. Женщина хлопочет у очага. Она готовит еду. Маленькая недорогая служанка (из деревни) делает всю тяжелую работу: уборка, постирушка. Муж ест, рыгает и спит. Вечером, после работы, он встречается со своими приятелями (которых чуть-чуть подзабыл во время помолвки) в центральном кафе; читает газеты или говорит о спорте, или сплетничает о морали. Он возвращается, чтобы пообедать, и часто снова идет сыграть в карты, выпить пару кружечек пива с другими приятелями. Ночью, когда он возвращается, он будит свою жену и сливает ей несколько капель спермы между ног. Женщина мечтает и населяет свою постель цветными картинками.

Любовь. С этим покончено. Как раз во время помолвки. Любовь - это одиночество.

4. Половинка апельсина.

И она снова идет на балкон и выбирает мужчину, который положит руку на ее тело в зеркале... Но это тело не будет больше томиться в одиночестве и ожидании, оно с дружеской нежностью и без всякого зеркала коснется другого тела, тела другой.

В лице нет и речи об общении с мальчиками. Их и девчонок даже разводят в разные дворики на переменах. Строго говоря, можно встретиться только в библиотеке, поглядеть друг на друга и разбежаться. Кафе? Эта территория оставлена за мужчинами. Те немногие женщины, которые здесь бывают, либо иностранки, либо проститутки. Даже мечети - для мужчин. Женщины могут туда ходить, но они не в праве молиться (падать ниц) на глазах у стоящих мужчин. Представляете, какой может быть скандал: жен-

щина на коленях возбуждает всю эту шеренгу мужиков во время молитвы?! Нет, это не серьезно. Пляж? На пляж ходят всей семьей.

Они познакомились в бане. Царящий там сумрак позволяет не скрывать наготы.

Она предложила ей половинку апельсина. В обмен та дала ей немного теплой воды.

Она попросила потереть спину. Она набрала в ладошку благовоний и сказала: знаешь, это из самой Мекки.

Ее била дрожь, а влажные нежные пальцы медленно скользили по спине. Потом она сказала: теперь моя очередь, я хочу вымыть тебе волосы хной.

У них были очень красивые волосы. Хна стекала по спине, пока она ее причесывала.

Потом они по очереди мылили друг друга: рука без всяких резиновых перчаток, зажав в ладони кусочек мыла - грудь, плечи, подмышки, ноги, между ног.

Выходя из бани, они в комнате для отдыха (предназначенной равно и для ждущих своей очереди) выпили ледяного лимонада.

Она ей писала стихи на арабском, она говорила: ты моя газель, мой бриллиант, моя радость. Она ей передавала в тот же день ответ: я люблю твои волосы, твой рот, я люблю, когда ты замолкаешь, отдаваясь счастью.

Они разговаривали часами по телефону, чтоб сказать друг другу самые обычные вещи, чтоб просто договориться.

Эта дружба между девочками сблизила две семьи, которые раньше едва знали друг друга. Время от времени девочки спали в одном доме, каждая бывала то хозяйкой, то гостьей. Они смотрели телевизор, чтобы закрыться в комнате. Они рассказывали друг другу истории, загадывали загадки, без конца переодевались, играли в возлюбленных и давали клятвы вроде "никогда мужская рука не дотронется до моей груди" или "никогда мужчина не приблизится ко мне". Они учились ненавидеть мужчин, но у них не получалось их презирать. Они менялись духами и украшениями. Лаская друг другу кончики сосков, они засыпали с нежностью. Они просыпались счастливыми и рассказывали сны.

5. Он нашептывал ей в затылок.

Это было накануне весенних каникул. Она получила безумное и безнадежное письмо от своего товарища по классу. Это было любовное послание. Длиннющий любовный стих, наивный и нежный. Зарифмованные строфы на классическом арабском, свободные стихи на диалекте. Изысканные обороты французской речи, украденные из справочника по секретарскому делу. Цветы, нарисованные на полях, огромная и, разумеется, неразбочивая подпись.

Она не ответила. Из чувства собственного достоинства и гордости. Все каникулы оставались у нее на размышления. Вернувшись, она написала ему коротенькое письмо, в котором соглашалась на дружбу, не больше. Они виделись по вторникам в библиотеке центра Французской культурной и университетской миссии в Тетуане. Надо заметить, что этот центр, где люди доброй воли предоставляют в распоряжение лицеистов и лицеесток Тетуана первые признаки декаданса в образе хорошо переплетенных книг под благожелательным (и может быть даже чуть порочным) взглядом пухлого, мечтающего о карьере господина, который быть может и нужен только потому, что облегчает жизнь нескольким влюбленным парам. Благодаря авторитету словесности и уважению к культуре (и какой культуре!), родители не в силах даже представить себе, что их девочки могут заниматься в библиотеке еще чем-нибудь, кроме как читать или менять книжки.

Они встречались здесь между шкафами "Философия" и "Французский роман". Они говорили о любви и дружбе, облокотившись на полное собрание сочинений отца Тейяра де Шардена, тома Бергсона, эссе Ренана, диалоги Платона, эссе Лавеля, Гастона Бержера и целый отдел книг по гуманистической и христианской мысли... Шкаф напротив отводился под добрую французскую литературу, классическую и современную, романы Пьера Лоти, Анатоля Франса, Мопассана, Фурнье, Ромена, Камю, Сартра, Ги де Каре (в основном Ги, которому одному принадлежала целая двухметровая полка; его книги пользуются таким спросом, что представлены в двух экземплярах; и правда, чего не сделаешь ради культуры!). Они говорили тихо-тихо. Он ей вышептывал в волосы свое одиночество, свою надежду, свою нежность. Она опускала глаза и молчала. Она чувствовала себя смущенной. Она покраснела, когда он сказал: "Я б так хотел увидеть твою грудь..."

В этом году он не поехал с родителями в мечеть Мулаи Абд-ислам. Оставшись дома один, он сумел уговорить девочку прийти сделать вместе философию. Она принарядилась, взяла в библиотеке книги и отправилась к мальчику. Они начали заниматься, беседуя от отвлеченном. Он взял ее за руку и поцеловал в губы, Как в кино, они закрыли глаза. Когда он лег на нее, она вся напряглась и попыталась его оттолкнуть, всхлипывая и сжимая изо всех сил ноги. Мальчик, который быстро кончил в штаны, прикрывал руками белое пятнышко спермы где-то на уровне пояса. Ему было стыдно. Она тоже чувствовала, как ее охватывает смутное чувство стыда и желания.

Это было у нее первый раз с мальчиком. Чуть царапнуло. Поцелуй и несколько прикосновений.

За десять дирхемов проститутка из Мсаллы раскрывала ему ноги в сумраке какого-то убогого заведения. Он кончал довольно быстро и убегал, слишком разочарованный, слишком брезгливый, чтобы оплакивать свое одиночество. За десять дирхемов женщина не раздевалась, и он все хотел напасть на молодую-и-понятливую-девку, которая полюбила бы его четверть часика.

Он ей налил чаю с мятой.

Они молча поглядели друг на друга.

Она взяла его руки и положила себе на грудь.

из всех времен

они избрали этот интенсивный белый цвет

чтобы жизнь двоилась

на дне перламутра

В КАФЕ .

Я скажу сначала о том, что еще не есть смерть в этих телах, иссушенных скукой и солнцем. В этих деревянных телах, подвешенных к далеким, но ко всему причастным звездам.

Я скажу - тишина. Огромное пространство льда и снега. Безликое пространство.

И в этом пространстве - кафе, мавританские кафе, террасы кафе. Пропать людей, сидящих даже на земле, скрестив ноги. Другие сидят на скамейках, как в зале ожидания: ни дверей, ни

окоп. Одинаковые взгляды вот-вот выроют могилу пальцам, которые барабанят по животу или чертят круги в пустоте.

Люди, скорченные в тишине. Они отдаются солнцу и ничего не ждут от него. Они держат руки за головой: так удобней сидеть на корточках. Если им и приходится двигать рукой, то только, чтоб согнать муху. Другие немного волнуются: кажется они чего-то или кого-то ждут. С неба или с моря. И Он придет. Быть может Он явится внезапно из огня или из воды. Они следят за ходом вещей и подчас неодобрительно косятся в сторону безразличных прохожих. Они чешут себе спину, грудь, живот и ниже живота. Выставляют напоказ свои руки. Раздвигают пальцы. Пожившие руки. Руки, обладающие природой и возделывающие ее. Набрякшие вены болезненных воспоминаний. Это их пространство. Мужчины держат руки перед собой. Они выставляют как на рынке свое единственное добро, свое средство к существованию. Украшенные руки, все в татуировке времени и кабального труда. Эти руки, размноженные в пространстве, бросают вызов солнцу. Надо приблизиться, пить их цвет и идти по тысячам маленьких тропок на плоскости левой и правой ладони. Надо уметь понимать, читать и делать выводы, по крайней мере чувствовать разницу. Надо потом проникнуть под кожу и вслушаться в бормотанье суставов. Но сейчас руки, вот они. Они сдерживают проклятия, разъединяют судьбы и утверждают рок. Они по сути ОКО. Всепроникающее ОКО.

В кафе дремлет потрепанная память.

Забивают косяк. Указательным пальцем утрамбовывают травку. Смотрят на косяк. Разглядывают его. Закуривают. Затяжка, потом еще одна затяжка. Глубоко вдыхают и передают соседу. Остается только одна затяжка. Он забивает косяк. Он утрамбовывает травку указательным пальцем. Он закуривает. Затяжка, потом вторая, и косяк переходит к соседу.

Взгляд падает на чай.

Взгляд падает на стол.

Тяжелый взгляд. Чай остывает. Впрочем, никто больше не врубается в стакан чая. Стол - это другое пространство. Он переходит совсем в иное измерение. Взгляд, отстранившись, отдыхает, потом погружается в туман какой-то мысли. Другая мысль возвращает его. Он останавливается на мухе. Еще одна затяжка и слово. Усеченное. Голое. Перебрасываются словами. Слово отталкивается от мухи и теряется в дымке травки. На стол ложатся

школа, больница, все пространство людей. Пробормотано. Пригрезилось. Муха улетает. Остается потрепанный деревянный стол. Снаружи ветер бьет по голым телам, сгрудившимся на площади Джамаа-аль-Фна.

Слово. Бог. Его пророк. Запятая. Глоток чаю. Жест. Вкушенная разница. Ласки рока. Безнадежный отлет судьбы. Бесповоротная смерть. Смерть на зеленой сцене. Рок посылает письма. Наконец последняя затыжка травки.

- А здоровье?

- Да, как твое здоровье?

Плавный жест вязнет во времени под пунктиром стеклянных глаз.

- Слава Господу Всемогущему, со здоровьем все в порядке. Да, только об этом и надо молиться. После всего здоровье это все! Без здоровья ты никто! Бог дает нам его, если не слишком грешить.

Пчела летает вокруг стакана с чаем.

- Ничего не проси у Бога, кроме здоровья. Остальное потом. Бог не может простить, когда о нем забывают. Вспомни Агадир. Это предупреждение, это даже не кара.

Пчела садится на стакан. И едва ей удастся погрузить свое жало в чай, она скользит и падает в это липкое и сладкое пространство.

- Время проходит. Оно идет в нас. Оно даже быстрее идет с тех пор, как Имам конфисковал наручные часы граждан и остановил городские куранты. Это хорошее дело. Время нам не принадлежит. Время как никакая другая вещь, принадлежит Богу. С тех пор, как время исчезло из города, звезды больше не имеют к нам отношения. В конце концов зачем? Что можно сделать с днем? Пусть себе проходит. Он ведь пройдет, с нами ли, без нас...

- Разумеется, прежде всего не надо полагаться на время. Оно всегда предаст.

Пчела на спине бьется в луже. Она борется и жужжит.

- А работа?

- О! Работа - это другое дело. Кто сможет отказаться от работы?! Чай остывает. Небеса бледнеют. Перебрасываются словами.

- В мое время работа...

Он протягивает ему косяк. Облака дыма - спутники слов.

- Скажи мне, ты ничего не знаешь о...

По улице похоронная процессия волочет сдохшего мула.

- До сих пор в тюрьме. Он занимался политикой. У него все было: здоровье, работа, семья... И он не был благодарен Создателю!

Кто-то сморкается. Сморкается громко и долго. У него с носа падают четыре маленьких червячка, и он их прячет в носовой платок.

- О! Ты знаешь, у них было оружие! Они носили его с собой.

Пчеле не удастся выбраться. Она дает себя убаюк: ъ потемневшим листочкам мяты.

Похоронная процессия заполняет кафе с возгласами: "Мы принадлежим Богу. Мы возвращаемся в его Город". Уходя, они оставляют на земле хвост мула.

- Мы тоже слуги Господя. Но мы ведь не тащим за собой пал-даль.

- Слышишь, у них было оружие...

Вмещивается официант:

- Нам остается только кладбище и этот утопанный рай. Политика? Да все мы ею занимаемся. Мне, например, надоело за-живо подыхать. Посмотрите на всех этих червяков, которые вы-ползают из наших тел. Мы обречены на то, чтобы порождать их и пожирать, если не хотим умереть. Нам остается только хвост дохлого мула. Это наша судьба. Это наше здоровье. Какая красота... Солнце отвернулось от вас. С каждым днем мы гнием все больше и больше. Я, например, изъеден червями, я блюю червями, у меня полно муравьев в заднице. Я воняю смертью. Медленной смертью. Бесперывной смертью. Я поджигаю скатерти, столы, кафе. Кон-чено, я сдаюсь. Я заключенный. Я виновен. Мы все виновны. Завтра их будет тысяча, потом десять тысяч, потом миллион, по-том больше миллиона... потом все. Трибунал нас уже не удержит. Мы сокрушим стены ограды. Весь город станет огромным трибу-налом. Больше нельзя будет вызвать обвиняемых. У них не оста-нется ни имени, ни возраста, ничего. Здоровье, я завещаю его вам. Я вижу, я догадываюсь. Вы не можете остановить ваш жуткий по-нос, потому что надо будет петь хором. Но я позволю вам отсечь смрад от тела, которое не перестает разлагаться на глазах, осво-бодиться от зловония, которое душит вас, как этот хвост мула. Смотрите, разверзаются небеса. Они посылают нам черный ка-мень. Это проклятие. Зерно нашего голода становится пеклом. Трава нашего ожидания умирает. Я отказываюсь быть человеком, дни которого сочтены. Мне надоел этот хорошо подвешенный язык. Как жабы, мы стоим на четвереньках, зажав голову между ног. Мы хотим наслаждаться, стоя на коленях и всасываясь в ис-сушенную грудь этих мартышек. Мы поверили, как и все осталь-ные, в алмазный ореол мечты. Я покидаю день и отталкиваю го-

ризонт. Я возвращаю тишину одним взрывом смеха. Вы, парящие в облаках, знайте, что содержимое ваших мозгов тает как воск при виде солнца. Я больше не иду за этой голубой мечтой в миниатюре. Я больше не иду за этим одиноким стоном, который так принято приукрашивать. Я вслушиваюсь в долгий и болезненный крик бетона. Падение. И уже явно земля.

Неожиданно: большой разъезд, тысяча новых возможностей. Черная точка, эпицентр чрева, где стирается всякая память. И встали солнца, чтобы призраки не прошли. Суд оправдывает, чтобы воскресить для новой смерти.

А главное птицы, которые перелетали из поэмы в поэму и взмывали под облака с эмблемой на крыле. Их пение избрало наше пространство, как родину. Их пение напоминает юную любовь на рассвете. Оно напоминает сны деревьев. Оно напоминает колеблющуюся весну. Бесполезную весну.

Он безумен, поэт! В него вселились злые духи! Он опять за старое!

Вот, пусть он носит эти слова Господа на груди...

Ему протягивают страницу Корана, которая служит талисманом от разрушительных мыслей и поступков.

Связанный поэт ждет в углу кафе. Захлебываясь в дыму травки, он теряет сознание и задыхается в тишине.

Тело разверзается и выпускает на волю поэму.

Тело закрывается и указывает на ту дорогу, которая рождается из его бреда.

Имам взывал на молитву с высоты маяка из папье-маше, построенного "Парамаунт" для фильма о корсарах. Услышав этот зов, люди встали со своих мест и кафе опустело. Они арестовали Имама и разыграли свой первый митинг во дворе большой мечети.

РУКА

От тех стен, которые, надвигаясь, искушают нас снами и переменами, можно ждать совсем иного освобождения. Я полон безумных замыслов. Я застагаю руку, которая поспевает всюду, руку, не умеющую ни читать ни писать ни сдержать ни свергнуть в бред. Я ее вопрошаю. Я принимаю вызов бессменного ока.

- Чтобы заключить себя в ромб, ты явился из страны лишних слов, слов, давно положенных на лопатки.

- Небеса.

- Зачем бороздить такие пространства, чтоб кончить дни замурованным в стену?

- Скучно и стыдно. Я, тот, кто должен был перемещаться только в чистых телах, отдал власть над собой кастрированной добродетели. Я пересек пустыни бессмыслицы и потерпел окончательное крушение в конце страницы пресной памяти. Я позволил перенести себя от радуги к спокойному морю, из города, вставшего на дыбы, к подцензурным желаньям. Я скрывал свои надежды и переделал день в огромную клетку для человека - птицы; усталые глаза, словно дверцы. И нет числа тем путям, по которым я бежал с поля боя. Я не умею больше жить. Я не могу больше смеяться.

- А те, что создали тебя?

- Стали землей. После братоубийства. Кровь собирали в глиняные кувшины, кувшины дарили безумцам.

- Дата. День.

- Вечность. Небо размером с хиджру. Разница. Голос: ловушка в грудной клетке народа.

- А этот народ?

- Серееет в яйце индюшки. Тысяча лет бессонницы. Народ - отшлифованный камень. Обведенный рот. Затылок на лбу. Я краснею, как ребенок.

- Еще какая извилина в черепе говорит со мной?

- У меня город. (Нет, это не серьезно). Было заповедано моему роду: "Вам даны во владения небеса". С тех пор они растратили вдвое больше и уселись на набережных прищипливать кусочки ностальгической плоти к душам моряков.

- Дай мне согнать тень с твоего слишком долгого взгляда, погрузить каждое движение в ладан и увидеть, как кровотоцит звезда, оплакивая терпение.

- Мне плохо под сенью этих пальм, которые ласкают первое попавшееся облачко и падают ниц, не дожидаясь ветра с моря; мне плохо в лучах этого заходящего солнца.

Я уйду и оставляю тебе как итог эту площадь, на которой решается нечто большее, чем просто судьба.

Слушай.

Слушайте.

"Я видел. Мне кажется, что я видел.

Но я знаю. Та же площадная суета. Никакого цвета. Каждые полчаса приходит автобус. Люди выходят через переднюю дверь. Постояли чуть-чуть и заходят через заднюю дверь. Их дом - весь город. Они дышат этим запахом потных подмышек, грязных носков и немытого тела. Они питаются этим дыханием, трут свои члены о ягодицы печальных женщин и порой запускают руки меж неплотно сомкнутых ног.

Но суть не в этом.

Я видел. Мне кажется, что я видел. Но я знаю. Все та же площадная суета. Ребятишки, готовые на любые проделки, крутятся около автобусной остановки. По очереди они бросаются за окурками, которые выбрасывают пассажиры, вышедшие из автобуса. Главное, это найти какой-нибудь особенный окурочек. Кстати, здесь они еще свеженькие, не лежали долго на улице, не мокли под дождем, не были раздавлены неловкой или зловредной подошвой. И потом, это почти что целые сигареты. Спешащий пассажир бросает сигарету, едва успев ее зажечь. Правило есть правило. Вечером, вслед за последним автобусом, дележка; дележка - это дело короля.

Так начинается ночь. Ночь - кладовая потерянного времени. День проходит в дыму. Бывает, что автобус дает задний ход. Тогда гигантские колеса давят окурки. Хорошо, если окурки, а не чью-то руку или хрупкое тело.

Это дети без определенного возраста.

Они способны вам предложить и счастье и все пороки; по крайней мере лишить всех иллюзий. Автобусная остановка - их зона. Собранные наспех окурки в некотором смысле их хлеб. Проглатываемый в начале ночи дым дает им еще немного ненависти. Они свыклись со смертью, как свыкаются с голубем. Их грудь распахивается каждое утро, чтобы выпустить привычную птицу. В то время, как кровоточит страна, похоронившая своих мертвецов, таких голодранцев становится больше и больше, и они, рыгая тухлой рыбой, издают жуткие вопли:

"Каза-Маркиз"

"Маркиз-Каза"

Нет нечистых рук, кроме тех, под перчатками, которые так берегут свою плоть, что ни разу не испачкали сердца земель. Эти руки передают чистый ладан Каабы и отнимают у рассветного камня белизну легенд. Поблекший взгляд подобен укусу, затмению звезд.

Едва заметными, но точными движениями, дети деревьев и ожиданья собирают позвонки и коллекционируют челюсти. Ночь расставляет пальцы, пропускает запоздалый солнечный луч и освещает багряный лоб затаившейся толпы. Улица - это шрам, по которому я прогуливаюсь в своем призрачном ожидании. Таков мой маршрут. Подчас мне составляют компанию те, кто позволил себе погрузиться в занесенные песком надежды. Забвение. Возвращение между ног патриарха. Мы дергаем за ниточки и пытаемся соткать план открытого света. Я, как и те, кто подбирает окурки и тела, знаю, что мы были вынуждены прижаться к белизне безразличия, там, в холодной мерцающей смерти.

Я должен был знать: чтобы замуровать память, достаточно отнять телеграмму и сложить руки.

Я понял также, что у моего страха есть свой собственный цвет: цвет смеха в паузах; смеха в плесени колодца. Я ныряю головой вниз в первозданную пропасть, чтобы разобраться, наконец, с путями своего рождения. Но странные звери выходят из чрева привыкших пускать мыльные пузыри наших слов.

Я видел. Мне кажется, что я видел. Но я знаю. Та же площадная суета. Никакого цвета. Сюда приходят ребяташки, вооруженные пустыми словами. Предлагают до блеска на-чистить вам башмаки. Вы протяги-ваете ногу и забываете свое тяжелое жесткое тело на террасе кафе. Они натирают вам щиколотки и посы-пают молчание морской солью. Они снимают с вас ботинки, затачивают сапожный нож, отрезают вам лодыжку и кладут ее в мешок (вероятно для колдовства). Вы даете им пол-дирхема и говорите, держи-денежку. Они прячут денежку и приятной прогулки ради предлагают вам костыли. Вы уходите из кафе, хромая, и напеваете: "Мы все прокляты, чистильщики сапог, и почти ослепли, дурной итог".

Мы покидаем площадь. Рука нащупывает путь нашими заблуждениями и предрекает огонь на кладбищах. Мертвецы бросаются в бегство. Земля не может быть больше ложем людей. Она расколота надвое.

ДЛЯ ПАСПОРТА

прижав руки к груди ты будешь бегать по всем коридорам вры-ваться в каждую дверь спать каждую ночь чтоб начать неизбежно наутро и вечером тоже поднимать эти могильные плиты под вечно смеющимся солнцем эти двери цементные двери обиты железом ты будешь в них биться со всею своей неизбывною болью и немножечко собственной крови соберешь в самый обычный стаканчик

Ты продашь две оливы скатерть наследство слово и возвра-щение и заснешь меж мечтой и иллюзией. Ты ждешь.

Немного песку в глаза и вот уж машины готовы раздавить твое тело ты встаешь и ищешь тепла у могил тебе ничего не осталось как точить свои зубы искать длинную руку.

Ты вертишься.

Еще двоюродный дедушка написал. Новости с родных гор. Немного холодно. Все время идет снег.

Вернись поглядеть на двойника циклопа. Есть помарки. И фотографии. Жаль, маловато. Ты не можешь даже подписаться. Экий малый. Дикий варвар. Едва человек.

Я все завязал в этот платок. Бумаги и остальное. Вы можете пересчитать. Я хотел еще взять транзистор и нож. Несколько зернышек и пучок соломы.

Тебе пока не хватает кой-каких бумаг.

Положи сюда правую руку. Нужно снять отпечатки пальцев.

Ты всаживаешь ему серебрянный кинжал в затылок. Он не понимает. Продолжает прищипливать бумаги фотографии удостоверения взгляды отпечатки. Никогда не надо тревожить директора, если он на совещании. Директор в отпуске. Директор в постели. Директор больше не директор. Директор в пустыне. На верблюде считает барханы. Очаровывает змей. У директора отрезали большой и указательный палец. Тебе не хватает бумаг. И марки. Налоговой марки.

Ты представляешь себе вооруженных людей с саблями. Из твоего рта появляются капли магической жидкости; ты начинаешь колдовать в тишине. Ты насылаешь на них тысячу жаб и тысячу булавок. Ты возвращаешься. За тобой идет толпа.

братья я говорю вам о прошлом

я говорю

о глубинах нашего одиночества

о стране наших грез

о кровоточащем свете

молчание - это полотно

нас в нем хоронят заживо

Ты ждешь. Руки в карманах.

Стены. Хватит на сегодня. Приходите завтра. Нет, не завтра. Завтра будет праздник. Завтра будет совсем другой день.

Пошлем ожидание.

Я сяду на поезд или на корабль. Я сожгу все мосты. Я провалюсь в другие пространства.

Ты не собираешь больше свою кровь. Ты так богат своей пролитой кровью, что щедрой рукой можешь орошать черепа упорствующих и руки, застывающие в ужасе на пороге всех ожиданий.

Улица полна скелетов.

КОЖА И КАМЕНЬ

Он приплыл в Марсель в корзине для апельсинов. Все время вглядываясь в просроченное удостоверение личности и выписку из свидетельства о рождении. Дорогой он ел апельсины. Он чувствовал себя неплохо, но малость взопрел. Усталость, пот и бесконечное ожидание. Немного французских денег, раздобытых на черном рынке, он прятал под собственной кожей: еле заметный надрез на животе служил ему кошельком. Так он нес на себе все свое богатство: несколько стофранковых бумажек, серебряное кольцо, часы-браслет и фотографии детей, источник смелости и осторожности, пламя в душе, уставшую память, пулю, застрявшую в его правой ноге в начале 54 года, которая стоила ему как титула участника Сопротивления, так и болезненного одиночества.

Он вынул сложенный вчетверо листок бумаги и принялся расшифровать адрес двоюродного брата. Женевиллье...

Показав билет всем железнодорожникам, он, несколько воровато вошел в вагон. Равнодушие уже отдавало металлом. Он встал в коридоре, оперевшись об угол неба. Казалось, что ему, как какому-то раскаявшемуся преступнику, было стыдно перед этими деревьями и деревнями, мелькавшими за окном.

Как взгляд виновного он вечно здесь чужой

Как тело рассеченное чужой

Как боль

блуждающая рана он чужой

Как прорезь глаз фарфоровых чужой
И в венах у него не кровь но гипс

Он приехал. Так как он решил изгнать зверя, гнившего в его мозгу. Он решил умножиться и хлынуть, как эпидемия, на улицы и огромные площади, на эти сердца из полированного дерева, на эту теплую плоть, которая раскрывается только навстречу теплой плоти, в объятия этих красоток, раздумывавшихся от наших поражений и наших ошибок, в мозги всех тех, кто дает нам в долг под процент, на сцепление колес той безобразной машины, которая производит бумажных людей, в глотку врага, который нас закабалит и нас отвергает. Он прошел на цыпочках по стальной нити. Он пришел прервать ваш сон. Вам страшно и вы вызываете пожарных. Он хочет стать тысячеликим в одном лице. Он желает вторгнуться в ваши сны и вспороть брюхо вашему покою.

Иностранец смотрел сквозь запотевшее стекло на деревья, казавшиеся верхушками неба на темнеющие то здесь то там виноградники. Поезд шел по рельсам, выходявшим прямо из его чрева. Вены на его ногах прошли сквозь сталь пола вагона. Он, стоя неподвижно, без конца пережевывал свои голубые, но кислые мечты.
...Женневилье...

Въезд в город.

я призываю в свидетели небеса и говорю: весь этот мир - ложь.
Такова моя истина. Я расскажу вам всю историю справа налево,
чтоб поднять ваших превратников по тревоге но призовите
толпу и остановите машину

Я
провозглашаю преднамеренное безумие и вскипевшую кровь
Я провозглашаю кровь не признанную в международных
конвенциях я пришел сюда пролить ее, на снег и на вечное
"нет" я провозглашаю десятилетия наизнанку память - предел которой есть ностальгия моя вера - боль моей
Родины боль цветов на лбу девочек из Атласа - источник
страдания моей руки я смотрю на вас и различаю медленную
смерть в откормленном вашем чреве я буду жить по доверенности и есть ваш хлеб я невидимый буду отмывать мостовые
вашего безразличия я брошу камень и кожу для этого я
привел свое тело в порядок я не говорю с вами и смотрю как

вы лезете на стальные деревья вы прячете ваших детей
но кошки царапают вас изнутри вот вам и больно я открою
войну между берегом и небесами и пошлю далеко слюнявую
логику я говорю: эта логика слишком долго слюнявила наши
извилины мы притворились, что вовсе привыкли что
предаем себя сфинксам в ее лабиринтах колодцы земли обе-
тованной представьте себе всегда розовощекий, искромет-
но-веселый народ народ который пил медпот наших матерей
доброта под маской уродства разбивает врата нашей зер-
кальной памяти сегодня я останавливаюсь на
месторождении ненависти валяйте пройдемте пустыня
здесь неподалеку я разрушу все добрые намерения у
меня склад поэм в голове я требую от небесной инстанции
вид на жительство гарантии социальной безопасности
фальшивое удостоверение для моего дневника еще разре-
шение на то, чтоб заделывать вам детей в полумраке право
сколько угодно летать над вашими крышами документ,
обозначивший разницу, дубликат моей плоти

Он вернулся в Касабланку с грузом оружия. Он был вскормлен сталью и порохом во время путешествия. И он хорошо выглядел.

* *
*

"Все это Ты, но как мне выразить
Тебя"

Аль-Халлаи

как из тела воззвать, не предав неумелого тела
воплотиться в дыхание ветра, не впадая в нелепую ересь
я хочу быть конем,
чтобы сбить подозренье с дороги
на равнодушной заре
и все ж я ворую слова
в конце концов горечь
пустые труды
я путаю зарево с зеркалом марево с морем

так прояснятся суть:

лазурь

ТОТ, КТО ВСПОМИНАЕТ ЭТУ СМУГЛУЮ ЗЕМЛЮ

когда вы выходите утром из дома, еще не проснувшись, еще не расставшись с полуночной сладостью грез, не торопитесь, доверьтесь открытому небу, пусть ведет вас зеленая птица она вам поведаст правду о судьбах народа, застывшего перед слепым безразличьем прибоя она вам расскажет о мужчинах-рептилиях, о юношах хищных пернатых она вам расскажет еще о путях караванов, которые призваны дать основанье мечтам, и если вам будет казаться, что вы погружаетесь в сумерки, не кричите

это ловушка
и сети крепки

это я вам расставил тенета

здесь всем хватит места

на всех хватит места но сама очевидность уже надоела

и это тревожит

уместны слова, на которых вы слишком привыкли развешивать
ваши рыдания

слова эти тают при приближении дня.

Потому-то нам необходимо продлить эту ночь,

спрятать время в надежное место

но мрак рассеивается

сперва осторожно, потом все отчетливей звезда утверждается в шлаке отсутствия нас. Разрывается вечность побед, избравших далекие земли. Время наших пространств - оппозиция рифмам. Память находит другие тела и они обретают теперь полноту, чтоб с лихвой утвердить нищету своих слов

речь обрывается. Я не из тех,

кто дает имена. Пусть работают руки, пусть они,

даже с риском для жизни.

Там открытый источник. Там смерть скитается в тишине вечеров. И разве что ропот теперь обозначит раздвоенность света в капкане. Так сам привыкаешь к новым условиям; так мы полагаем основание времени - бронза. Между тем природа безумия в наших руках

Однажды солнце уже плясало в их зрачках.

Это была эпоха, настоянная на легендах

пустыни. Сойдя со своей крылатой колесницы, звезда им предложила соломенный рай. Ужас свернулся кольцом в бесстрастных небесах. И роскошь там правила бал: в море, где плавали звезды. Тело, покрытое пеной прибоя, растворялось в прозрачности воспоминаний.

Стоя на гребне волны, дитя колдовало над случайными снами песка, ворошило андалузские грезы.

Из какого безумья восстанет пустыня? чье чрево родит нам коня из сказаний о счастье: в глазах его молнии, а голос громopodobен?! Из какого веселья сумею я вычитать баснословный блуждающий город: от моря к звезде, от плоти к пустыне, курс прямо на солнце? Я вхожу в свое тело сегодня так, как выходят за городские ворота. Я отменяю время самоубийств. Я также слеп, как другие, но я укореняю желания в необъятной трясине наших пространств. Я вспоминаю: на ранах бербера выростали деревья. Они предвещают крах тех, кто себя полагал дрессировщиком древних стихий. Так зеленая птица открывает нам книгу едва затянувшихся ран.

Мы не пойдем просить милости вслед за волной и не вывесим память сухую на вершинах усердия к вере. Мы не погонимся вслед за добровольно ушедшей газелью. Мы ей оставляем изгнание. Мы не станем пески вопрошать: пусть немотствует почва, укрывшая рану. Мы скорее позволим нашим вредным мечтам покрыть купол небес.

Но из какого безумия солнце напоминает нам суть асфодели взрыва? Из какого безумия наше извечное прошлое вернет нашим мертвым их место в обители звезд?

Город брат кочевых облаков
на твоих склонах
цветет конопля - расчудесная травка
блужданий

Пока утверждая разрывы слово свободного ветра обнажает сердца - сожжем крепче безумье в объятьях.

Город
я тебя возвращаю морю

и охраняю скалу, замкнувшую спящую рану

Мы порвали с прибоем и пьем передышку разметавшейся
ночи...

в теле страны мы пробудили мечту... мы послали Луну к над-
гробиям



Алексей СОСНА

Нам неважно - февраль, май...
Мы готовы в любой миг,
все забросив, пойти в рай
по страницам своих книг!

И пускай их потом жгут
по указкам князька тьмы.
Нам не страшен Последний Суд!
Испугаемся ли тюрьмы?

Мы бессмертны, как Вечный Жид.
Мы в ответе за ваш срам.
Не учил бы ты, врач, жить.
лучше вшей *espera!* сам!

Ваши хлопоты нам смешны.
Гавриил! На трубе играй!
Как бы ни были мы грешны,
наши души пойдут в рай.

Стой без трепета - прям и тих,
когда Бог отзовет на край.
Это будет твой лучший стих
перед тем, как войдешь в рай.

А пока еще жив - пиши.
Ничего про стихи не знай.
Не тебе судить - хороши
ль твои вирши. Поэт? В рай!

Что ты сморщился так? Не ты ль
трусишь ада, продажный враль?
Не закручивай свой стиль.
Лишь поэты пойдут в рай.

Игорь Схолль 1958 - 1982 (?)

Семидесятые годы нынешнего века в нашей стране почему-то принято считать безинтереснейшим, скучным временем. Возможно, для кого-то это и было так, но только не для Игоря Схолля. Он любил жизнь - а не то, что ему могли дать или не дать. Может быть, именно потому его судьба не вписывается в новоиспеченные каноны "страдальцев семидесятых": трудно было найти человека, менее соприкасавшегося с режимом, чем Игорь Схолль.

Игорь просто не играл в общие игры, столь мучительные для честных советских людей. Он писал стихи - а что может этому помешать? Он любил! - а причем здесь власть? Он ездил автостопом по всей стране, радуясь новым местам и людям, не нуждаясь в деньгах, прописках, справках... Смешно даже произносить такие слова - когда говоришь об Игоре Схолле!

Его стихи - легкие.

В них, может быть, единственно верное ощущение времени, неуловимый аромат семидесятых, не перебитый политическим стоном. Когда-то эти строки, столь же непохожие на "официальную" поэзию того времени, сколь они отличаются и от нынешней, "разрешенной", слушали лишь его друзья... Спасибо им, сохранившим сотни разрозненных листков, и - быть может - кто-то еще откликнется, чтобы помочь нам продолжить рассказ об этом замечательном человеке...

Игорь Схолль - поэт, и жизнь его (к которой он относился так легко!) - жизнь поэта. В ней тоже есть свой канон: для человека, любящего жизнь бескорыстной любовью, редко находится место на кладбище. Последний раз его видели зимой 1982 года, выходящим на трассу, начинающим какой-то новый, далекий путь.

Игорь СХОЛЛЬ

Лекарство от бессонницы -
движенье,
движенье,
но не цели достиженье
а сквозь туман, как через облака
пока еще нет памяти,
пока
не рассвело,
и кажется иначе
все, что нам снилось,
я и ты - не те.
В объятях космоса
земли веселый мальчик
с Европою на пухлом животе.

* *
*

Итак Москва. Каретный ряд.
Из Эрмитажа едут цугом,
Кто в Яр, кто к дому - на Арбат.
Февраль. Полночь. Сердится выюга,
а кучера кричат, кричат...
Страстной бульвар, Тверской
и площадь,
проулки, Оболенских дом,
и академия напротив.

Идет усталый генерал,
мерцают звезды на погонах,
метро закрыто, нет свободных
такси, и четверо юнцов
сидят на площади Арбатской
и тянут пиво. Может статься,
спешит вояка наш домой
от друга, чуточку хмельной,
отвык пешком, небось не часто.

а если что-нибудь стряслось,

то все уляжется авось.

Любая музыка прекрасна.

* *
*

под навесом
два повесы
прикурили от дождя
пляшет праздник мелким бесом
по московским площадям

двум повесам
веселее
говорить о том о сем
видят
девка по аллее
ходит-бродит
босиком

двум повесам
стало жарко
от предчувствия потех
двум повесам
стало жалко
неприкуривавших всех

* *
*

Иллюзия свободы или славы,
когда слова печальны и мудры,
но золото не требует оправы
по правилам проигранной игры.

Меняются народы страны нравы,
блефует мальчик, мальчик пьет вино,
ведь даже повелители державы
умрут, как этот мальчик, все равно.

Конечно мавзолеев понастроят,
конечно траур будет на три дня,

но это все равно гроша не стоит,
не прикурить у вечного огня.

А мальчик мнет чужую сигарету,
целует в губы, плачет на ветру,
чего ему бояться злых наветом,
когда он с кем-то счастлив поутру.

Конечно рано подводить итоги,
торжествовать не стоит до поры,
но ведь известно, что земные боги
в конце концов выходят из игры.

* *
*

У бродяги любовь коротка
у бродяги любовь до утра
первозданнее нету греха
чем залечивать раны вора

На рассвете тревожный гудок
бой часов звон посуды скрип стен
как запутался этот клубок
поражений удач и измен

Рука женщины ах как бела
а привычки смелы и вольны
и они наподобье крыла
на гребне непокорной волны

В той позиции тайный изъян
неспособная верность сберечь
точно штопор вонзает свой стан
она в горло распахнутых плеч

* *
*

Не владею собой
и умением своим не владею,
счастлив лишь от того,
что расплывчаты очертанья,
и классических рифм
предрождественская Иудея
на черта мне.

Я сумею наверно
под торчем иль попросту спьяну
целовать мостовые
и гнуть
эти тяжкие строки
то как старый китаец
в Тибет уходить за дурманом
то как русский мальчишка
таежные строить дороги.

Но когда призовут
и мое поколение к ответу
за земные дела
за пророчества вехи и сроки
дай судьба мне опять
это странное право поэта
молчаливо застыть на пороге.

Ведь себе самому
наконец-то настало признаться,
что земля хороша
но придется платить по счетам
где-то там за чертой
неудач и посмертных оваций
где Христос не воскрес
а владыка смертельно устал.

* *
*

В прекрасном балагане
играем целый век
немножечко цыгане
среди великих вех

А боязно бывало
но только потому
что трудно поначалу
на сцене одному

Без старого суфлера
без музыки и без
чарующего взора
обещанных принцесс

Но роль гибка как совесть
проста как естество
и помнит каждый: повесть
продолжат без него

ГУМАНИТАРНЫЙ ОТДЕЛ

Андрей ПОЛОНСКИЙ

ВОЛЬНОСТЬ: БУНТ БЕССМЫСЛЕННЫЙ И БЕСПОЩАДНЫЙ

(Разрозненные заметки, объединенные любовью)

*Наде Кеворковой в память
о долгих наших беседах и о нашей печали*

Народная мудрость гласит, что не тот дурак, кто совершает ошибки, а тот, кто их повторяет. Условия нашего исторического бытия тем более требуют сохранять ясный ум и твердую память, видеть не врагов (их нам достаточно показали, почти все врагами представлены были, этакая национальная шоу-программа), а причины, стремиться не к панацее, но к работе. Уже навязли на зубах споры о целях и средствах, политике, морали, Ленине, Сталине и их кровавых подручных, по какой-то неизъяснимой причине всегда стремившихся рядиться в ангелы, поэтому попытаемся отрешиться, с одной стороны, от сугубо советского подхода к русской истории, а с другой - от наметившейся склонности повторять идейные конструкции 65-летней давности, и попытаемся понять: какие трансформации привели нас к тому социальному эксперименту, который оказался не только грандиозной фикцией, но и превосходным орудием для смертоубийства, и что нам сулит выход из этого эксперимента?

Если внимательно взглядеться в связь причин и следствий, проследить, как и когда впервые освободились мы от ответственности и навязали себе на шею ярмо ложно понятой необходимости, придется дать себе отчет в том, что невозможно найти объяснения торжеству большевизма исходя из изолированно-исторической логики; мы неминуемо упираемся в трудности мировоззренческого и религиозного характера: на вертикальном срезе - в проблему свободы, на горизонтальном - в то же множество вопросов, которые обычно возникают в связи с цивилизацией "нового времени".



Кризис гуманистических идей в общеевропейском масштабе становится очевиден сразу же после первой мировой войны (по времени совпадает с Октябрьским переворотом). Но было бы явной ошибкой полагать, что сама война стала причиной этого кризиса - разумеется, нет, только после 1918 г. он безусловно проявился - и в известной книге Шпенглера и в самой общественной жизни - т.е. силы, которые сформировались довольно давно и призваны были разрушить классическую "просветительскую" культуру начали господствовать над историей и определять течение событий. По времени же это совпало с окончательным оформлением (на Западе - повсеместно) демократических государственных структур, которые и стали итогом всего развития XV-XIX вв, наследием, оставленным цивилизацией, исходившей прежде всего из интересов человека - хозяина Вселенной, и понимающей путь всех как арифметическую сумму векторов воли каждого. *{1} Между тем попытки утвердить парламентскую систему в России закончились государственной катастрофой. В этом можно, конечно, видеть совпадение неблагоприятных обстоятельств, но нельзя не понимать, что сами эти обстоятельства имели более глубокие корни; речь шла не только об общей атмосфере эпохи, но о существеннейших характеристиках жизни.

Государственная структура Московского царства не была столь невыраженной и стихийной, как это принято себе представлять. Складывавшееся веками и юридически оформленное Петром 1 всеобщее закрепощение сословий, которое при желании удобно рассматривать как торжество рабства, представляло из себя наилучшее воплощение принципа "тотальной ответственности", сформировавшегося как в результате прямого греческого православного влияния, так и под давлением постоянной внешней опасности. Дело не в том, что российская государственность оформилась в обстановке общего напряжения (так складывается всякая великая государственность), но в том, что напряжение это носило духовный характер (единственное православное царство). Указ о вольности дворянства разрушил общие для всех узы, но не изменил самой сущности власти, которая была не абсолютной, но за все отвечающей, понимала свою задачу не как "управление Державой", но как "хранение" ее. В системе политической Царь выступал в роли Бога, и свобода его подданных реализовывалась как свобода религиозная - следовать воле господина или восстать на него. Права на личную автономию, т.е. на собственное мнение и вытекающие из него поступки в той области, где утверждался ав-

торитет царской власти, русские, разумеется, не имели. Ситуация эта не могла быть стабильной: даже в раю, где люди жили под сенью постоянной заботы Господней, любовь и свобода оказались слабее тяги к запрету; впрочем здесь слишком глубокая онтологическая проблема, слишком многослойная метафора, чтоб позволить себе походя окунуться в нее.

Обычно любят поговорить об отсутствии в России опыта Ренессанса, вечной женственности русской души и т.п. Однако при этом забывают о сущности идей социального освобождения и особенностях восприятия этих идей православной культурой именно в рамках государственных структур Российской империи. Максимализм требований в контексте эсхатологических ожиданий, извращенная религиозность революции и т.п. (о чем достаточно писали Н.Бердяев, С.Булгаков и иже с ними) отступают на второй план перед более существенной ценностной деформацией, которую Россия не приняла. Россия не приняла снятие Абсолюта, выведение относительной ценности истины путем количественного учета ее сторонников; Россия не приняла абстрактной человеческой жизни, как высшей ценности, в отрыве от заповеди "не убий" и пословицы "Бог дал - Бог взял". *{2} Россия не была бездарна во всем срединном (не слишком удачная формула Бердяева), она отталкивалась от всего срединного, как будто бы всегда стремилась избежать ужаснейшего удела

"тех жалких душ, что прожили не зная
ни славы, ни позора смертных дел", -

о котором столь красноречиво говорит Данте. (Б.К., Ад, 3, 34). Здесь отказ от Бога сразу означал зверство - без всякого перехода, и вовсе не потому, что православие служило прекрасным источником для манихейского восприятия мирового зла, как силы, равной Добру, но потому, что, не признавая мещанина-гражданина, свободного от ответственности, но замкнутого в своем маленьком мирке разумного и возможного, всякий русский, отказавшись от Бога, не задерживаясь вырастал-рушился до ницшевского сверхчеловека (процесс, великолепно показанный Достоевским). Или раб Божий или сверхчеловек (преступник) - мы не можем и не хотим знать третьего, т.к. третье представляется нам чреватой конечной гибелью и попросту пошлым. *{3}

История русского освободительного движения становится, таким образом, летописью саморазрушения русского народа. Согласно теодицеи бл. Августина, зло есть меньшее добро, т.е. искажение конечной сущности вещей. Равновесие мира строится на

евангельской заповеди: "возлюби ближнего своего *как* самого себя". Нельзя любить ближнего своего *меньше* себя, ибо это будет эгоизм, меньшее добро, стремление стянуть мир к своему "я"; но нельзя и *больше*, так как больше себя, творения Божьего, человек может любить только Бога, в котором сходятся и от которого исходят все пути жизни. *{4}

Между тем в новое время происходит важнейшее смещение в понимании свободы, которая трактуется теперь как независимость, бунт против иерархии, отказ от *своего* места в гармоническом концерте мироздания (именно против *своего* места восстал прекраснейший из ангелов - Денница), ненависть к господствующим над тобой и нежелание господствовать над подчиненными тебе. Не зря гражданская свобода стоит рядом с равенством и братством в знаменитом девизе Французской революции. Однако такая "вольность" с точки зрения христианина уже не есть действительно свобода, ибо свидетельствует о ситуации осуществленного выбора между целостностью мира и собственной самодостаточностью, о торжествующем произволе взбунтовавшейся твари, пожелавшей искать добро и совершенство вне Творца, в мире одинокого человечества, которое уповает на то, что может по собственному усмотрению устроить собственную судьбу.

О тирании анархии написано уже достаточно, однако редко обращают внимание на феномен "подмены выбора" в условиях т.н. многопартийной демократии. При господстве одной, назовем ее условно - государственной идеологии (здесь мы не касаемся вопроса об истинности или ложности той или иной ее формы) - у человека остается возможность не принять ее и сформулировать свое кредо. Значительно сложнее положение личности, когда ей приходится сталкиваться с несколькими расхожими доктринами: легко поддаться на соблазн лжеидентификации, отождествить свое мировоззрение с той или иной социальной философией, и, разделяя исходные послылки доктрины, погрузиться в трясину предубеждений. Так, вольность быстро оборачивается духовным рабством, из которого трудно найти выход, ибо выбираясь из объятий одной, сразу попадаешь в сети другой предлагаемой системы. Сущность вольности как несвободы со всей очевидностью показал российский 1917 г., когда итогом всеобщей партийной ангажированности стало царство дурно "осознанной необходимости".

Разумеется, соблазнил наше Отечество Запад. Нам сейчас не нужно доказывать, что Россия, как любое сообщество людей, не

была совершенной и изолированно стоящей в правде (как бы этого иным не хотелось) и до проникновения европейских идей и предпочтений. Должно быть для всех очевидно и то, что самого этого времени - "ДО" по существу никогда не было и не могло быть. (Православие и католичество выросли из единой Вселенской Церкви.). Однако для нас ясно, что гуманизм пришел к нам с Запада и на русской почве не утвердился. Тот, кто знает все о жизни, говорил: "Невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят" (Лк, 17, 1). Душевный и телесный бунт у нас был определен возмущением духовным - "как это мы до сих пор, да не среди просвещенных народов?!" - и императрица переписывается с Дидеротом. Зачем переписывается, спрашиваем, хочет его идеи в своей Державе укоренить? Нет, из тщеславия. Мы приняли гордыню человеков (философию самодостаточного разума) из тщеславия: мол, и сами не хуже - и в этом весь российский XIX век, трагедия, выросшая из желания равенства, желания "быть как все" (среди тех, кто включался в число народов и государств европейской ойкумены). Это важнейшее качество России (глубокая самостоятельность, ощущение собственной духовной избранности - Святая Русь - при патологическом желании быть "в семье цивилизованных народов" *{5}) делает отечественную историю феноменом сугубо личным, определяющим не только мировоззрение, но и судьбу каждого человека, имевшего счастье или несчастье родиться в этой стране. Ты должен выбрать меж стремлением жить "по-человечески" (внешне без-заботно, без-опасно) и духовной борьбой, которая способна вознести, но способна и испепелить. Такая альтернатива в современном мире действительна только у нас, здесь; Запад нашел точку равновесия в период крушения гуманистических ценностей именно в восприятии равнинного течения жизни как самоцели (качество жизни, эволюция, а не революция и т.п.). Мы же, ценой страшных жертв; в своем крушении опасности этой избежали; однако сегодня слишком многие полагают эту плату чрезмерной и склонны видеть в снятии трагедии не гибель и конец, но идеал, к которому сами хотят стремиться.

Что ж, здесь водораздел между теми, кто хочет остаться в лоне русской культуры, и теми, кто желает нас навсегда покинуть (географические перемещения не обязательны). Предавая родительский дом они будут говорить, что русская культура себя изжила, Россия свою миссию выполнила, отечественная государственность реакционную роль сыграла, и даже печаль здесь совершенно излишнее дело. Однако даже им, наверное, трудно не

заметить, что на самом Западе уже столетие с лишним вдумчивые люди ждут "света с Востока", и безусловное влияние русского XIX в. на европейский XX объясняется именно тем, что только непризнавшая, но познавшая последствия гуманизма Россия способна дать вариант дегуманизации не отвлеченно-разрушительной, но почвенной, возвращающей человека к земле, на его действительное место в мире.

На рубеже веков Российской империи уже прочили роль некоего Востока-Запада, которому суждено объединить стареющую европейскую культуру с цивилизациями Азии. "Панмонголизм - хоть имя дико, но мне ласкает слух оно". Однако мировая война дала совершенно иные результаты, нежели те, на которые рассчитывали ученики и последователи Вл. Соловьева.

Чем же было наше новое общество? (Может быть рано еще устраивать поминки, но очень хочется, чтоб не летаргический сон.) Мы жили в условиях торжествующей человеческой воли: мы восприняли вольность как право навязывать желание меньшинства большинству, подчинять жизнь лучшим представлениям средних; популизм как естественное продолжение арифметических экспериментов с истиной, привел к торжеству самых грубых инстинктов народной стихии, подлинному культу низа, кумиры которого были страшны до тех пор, пока не стали жалкими. Вольность обернулась невиданным доселе типом социального порабощения, которому даже и имя новое придумали - тоталитаризм.

Меж тем именно таковы были мечты "лучших сынов человечества", сторонников всех и всяческих эмансипаций. Глупо говорить, что где-то там напутали с идеями и средствами. В порыве имитации желали взять на себя важнейшую духовную задачу - изменить человеческую природу. Изменить не удалось - восторжествовало самоедство.

Но именно тут начинается БОЛЬШОЙ СМЫСЛ России. *{6} В условиях не то, что благоприятных, но губительных на первый взгляд для свободы, развернулась духовная работа в догутенберговских формах (выражение А.А.Ахматовой), духовная работа, не претендующая на вознаграждение здесь, долу, не имеющая даже надежды на признание современников и потомков. Отечественное бескорыстие стало искать свой единственный путь и, не имея возможности даже при желании определить правду подсчетом голосов, вычленяло для себя иные критерии Истины. Работа эта отнюдь не завершена, условия, в которых она разворачивалась,

более актуальны, и мы далеки от бессмысленной смелости их идеализировать, но сама память о возможности противостоять любому, самому жестокому аппарату подавления, должна заставить изменить подход к вопросу о месте человека и мотивах его поведения в мире.

Парадокс заключается в том, что раскрепощение индивидуальности - самый надежный способ подавления, уничтожения ее. Признание собственной самодостаточности неминуемо приводит к подмене служения творческому началу имитацией творения из ничего, и человек погружается в пучину пародии, попадает в замкнутый круг технократической цивилизации отчуждения, когда убежденность в бесцельности собственного существования - нет и не может быть цели; иначе как лежащей вне смертного "я" - доводит до желания покориться любой иррациональной (сверхрациональной) силе, вне зависимости от ее знака. Так, отказ от упований на Святого, Крепкого и Бессмертного проводит в подчинению любому - мощному, любому - умеющему жить дольше, любому - знающему больше (НЛЮ, экстрасенсы и т.п.). Прекрасный пример тому мы находим в кафкианском "Процессе", герой которого не потому позволяет ввергнуть себя в поток, властно влекущий его, виновного, к гибели, что не способен ему противостоять, но потому, что ему, герою, как автору книги, сладко быть виновным, пусть даже без вины, сладко ощущать свою "нужность" для кого угодно, для чего угодно, даже для аппарата уничтожения. От суверенного человека "нового времени" - до К. - прямая дорога длиной в полтора столетия. Христианские мыслители всегда указывали, что служение дьяволу, персонифицировавшему самодостаточность и самоуверенность, неминуемо ведет к саморазрушению и самоубийству. Вольность не только уничтожает возможность свободы, но и пожирает саму себя в оргии снятых запретов, и, соблазнив людей под иго необходимости, ставит их в такие условия, в которых они либо затягивают себе на шею петлю, либо вспоминают, по чьему ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ созданы.

Ф.М.Достоевский первый сформулировал эту экзистенциальную ситуацию и нашел из нее выход. Россия первой дошла до предела вольности, до крайней степени абсурдизации жизни, и, хочется надеяться, не станет, подобно Сизифу, спускаться за камнем, сорвавшимся с горы, погружаясь все глубже в пучину гражданских смут, но сумеет, в силу своего великого достоинства, великого проклятия, прескочить середину, точку равновесия, и вернуться к православному пониманию соотношения закона и бла-

годати, человека и общества, смерти и бессмертия. Только так может быть выбрана свобода.

Неверно было бы думать, будто бы современный Запад достиг некоторого компромисса, оптимального сочетания духовной и гражданской свободы. В пост-европейском обществе XX века стабильность получают путем ограничения вольности из соображений безопасности, вымывания духовной направленности культуры, признания устремленности вверх допустимой (в контексте восприятия), но вовсе не обязательной (характерно и разделение людей по психической ориентации на интравертов и экстравертов, т.е. либо к обществу, либо на себя; призвание служить Богу не выделяется (!) в самостоятельный тип душевной организации). Снятие Абсолюта в позитивистских и прагматических доктринах показалось настолько убедительным, что даже с окончательной потерей смысла и смыслов (как в теории лингвистического анализа) не происходит возвращения отвлеченного знания в лоно религии; современный западный человек, выведший свое разумение из-под спасительного ига Церкви в эпоху Ренессанса, не хочет, скорее не может сам подчиниться благодатной власти веры, ибо устал от желаний, ибо скептик, ибо не выносит определенных доктрин, заставляющих действовать. Современный западный человек - стихийный буддист, приверженец Хинаяны, однако он не чувствует трагизма жизни и свою сущность воспринимает как разновидность Нирваны. Любой ученик принца Гаутамы, глядя на деловой Нью-Йорк или лондонское Сити полудни, сказал бы: что делать, они еще не проснулись. *{7}

Разработанные технократической цивилизацией механизмы подавления бьют прежде всего по религиозному началу личности (в отличие от большевизма, который стремится создать псевдо-религию, суррогат, эксплуатирует веру). Социопсихологические разработки, монополизация, унификация, вообще журналистская манера анализа бытия - все это направлено на решение одной задачи - заставить человека бояться смерти или забыть смерть, утвердить в его сознании надежду на торжество над всеми несчастьями и болезнями, перспективу ложной материальной вечности, ибо именно так можно создать идеального потребителя. Вместе с хлебом и зрелищами толпе навязывается жвачка "благополучного исхода"; гарантией процветания и стабильности становится вольность в допустимых пределах. Позволяй себе все, что хочешь, пока другим не мешает - нехитрая философская основа концепции "прав человека" *{8}, сущность и итог позитивистской

этики. В такой обстановке у каждого, кто имеет хотя бы отвлеченное стремление к духовной жизни, к истинной ценности, возникает единственное желание - разорвать путы общепринятого, опрокинуть довольство, прорваться в реальности. Отсюда возникает контр-культура, страсть к разрушению привычных структур цивилизации: испить чашу до дна. В контр-культуре, метафизический пафос которой очевиден (даже для тех, кому удобнее, чтоб сохранить девственность своих мозгов, всю рок-музыку называть "сатанизмом"), воля преодолевает саму себя, человек, устав от крушения норм и ничем не ограниченного самовыражения, оказывается лицом к лицу с Абсолютом. Однако такой внесоциальный нигилизм был легко адаптирован обществом потребления; на индивидуальном уровне он оказался не способен взорвать буржуазность, победила тяга к безопасности. Прекрасной иллюстрацией тому служит вся морально-политическая ситуация вокруг СПИДа: если Господне наказание - побережься, найти лечение... если просто новая болезнь, так затаиться и спастись, спастись, спастись! - торжествует отказ от трагедии.

Иной, нежели в контр-культуре, совершенно вывороченный характер имела религиозность русских нигилистов XIX в. Западный бунтарь, битник-хиппи, разочаровавшись в возможностях автономной личности, обращается к истинной религии; к реальной ценности; отечественные же демократы превращали в абсолют всякое случайно ставшее им известным открытие науки определенного направления и таким образом выстраивали новую систему вокруг абстрактного символа - "интересов народа" (о чем толковали "Вехи" и веховцы). Советские исследователи типа Кс.Мяло, Ю.Давыдова и пр., пытающиеся доказать "бесовство" молодежной суб-культуры, совершенно не учитывают разницы знака, спекулируют на только кажущейся общности по типу: уничтожение плодов просветительства в порывах крайней эмансипации *{9}.

Превращение идеологии русского освободительного движения в своего рода метафизику было обусловлено, среди прочего, и глубоко провинциальным восприятием идей "нового времени" в России. Любая доктрина, там, где она возникает, лежит в контексте интеллектуальной ситуации; всякое последующее поколение адептов - "большие роялисты, чем сам король"; так мысль доводится до крайности, и её созидательные возможности исчерпываются, - она превращается в принцип. Российский рационализм не имел никакого самостоятельного мировоззренческого значения,

был воспринят как данность, и, став разумным эгоизмом, народнической и большевистской программой, требовал жертв. Чем скуднее духовный запас, тем больше нужно было жертв: создать видимость силы. Элементарные идеи легко становились всеобщим достоянием, максимализм требований был близок национально-религиозному типу - так формировался диктат общественного мнения.

Нельзя сказать, что национальная русская государственность не оборонялась, однако истерия была почти всеобщей, аргументов правительства никто не хотел слышать, Победоносцев казался ангелом тьмы (простер, вишь ты, свиные крыла), а всякие попытки защитить православный взгляд на страну, ее историю и ее народ представлялись как крайне реакционные ("темное вино" государственнопочвенной стихии, "вечно-бабье" в русской душе - это ярлыки отнюдь не поверхностного Бердяева). Все ждали проявления такого реформационно-европейского, героически-созидательного начала, преображения стихии; смирение не принималось, как терпимость к язвам мира сего. В таких условиях, разумеется, никому и в голову не приходило, что сами язвы этого мира имеют трансцендентальное происхождение.

Когда с высоты современного опыта пытаешься следить за идейными спорами рубежа столетий, невольно охватывает ужас перед едва ли не всеобщим помрачением ума. Что ж, это цена, которую пришлось платить за отождествление вольности и свободы, за презрение к истине и традиции. Так и русская религиозная философия, поставившая своей задачей преодоление стереотипов интеллигентного сознания, равно не могла освободиться от штампов "гуманистического" европоцентрического мышления, мудрости века сего; реальная православная жизнь выскальзывала, уходила в песок, самые глубокие ее стороны не были видны, ибо никто еще не собирался отказываться от любви к "человечеству", глубоко ошибочного представления о собственной самодостаточности. Богохуление вошло в плоть и кровь, даже не замечалось. И только некоторые опомнились, когда зло проявилось в крайних своих формах - после 1917 г. Посмотрели на творение рук своих - и ужаснулись. И так - все 70 с лишним лет. Десятки, сотни, тысячи, наконец миллионы ужаснувшихся. Потеря опоры: все подвергается пересмотру - сначала средства, потом цели, потом ценности. И, что очень характерно - здесь тоже налицо элементы культа. Сперва не верили, факты подтвердились (самые жуткие факты всегда подтверждались) - и был шок.

Для нас очень важно, что срединность не умеет ужасать. Не знает этого потрясения, сильнейшего средства. Весь современный западный радикализм - он от тошноты (вспомним название романа Сартра), но ужаса там нет. А результат действия разный: когда тошнит, хочешь освободиться, избавиться; когда ты в шоке - лихорадочно ищешь точку опоры; укрепиться бы, удержаться бы (состояние, прекрасно переданное стихотворением Бродского "Когда теряет равновесие"). И здесь самое главное - не попасть в порочный круг, не начать снова. Поэтому нам сегодня должна быть ясна модель восстания твари, духовное и душевное содержание борьбы за "уважение к личности", гражданское общество и т.п.

Вольность - это всегда антисмирение, гордыня, упование на собственные силы, ставка на себя. И в этом отношении она противостоит свободе: для удовлетворения гордыни человек должен включиться в нескончаемые игры самолюбия, поставить себя в зависимость от чужой глупости и зависти, потакать тщеславию десятков других людей, чтобы самому самоутвердиться (блестящий анализ всего этого комплекса взаимосвязей дает Фрейдистская психология). С другой стороны, не всякое смирение становится свободой; то смирение, что паче гордости - ханжеское и показное - еще одна разновидность рабства, так как ориентируется в первую очередь на людей и опять попадает в ловушку, расставляемую "меньшим добром", предпочитает относительные ценности абсолютным.

Свобода - естественное смирение, не озабоченное оценкой, избегающее самооценки и не ждущее благодарности. Внутренняя свобода поступка в жизни и в истории - это прежде всего независимость от результата и доверие к воле Божьей; смирение без усмирения, повиновение без вины. Свобода - смирение, знание, любовь. Чем выше поднимаемся мы по лестнице к Небу, тем больше слов становятся синонимами *{10}.

Смирение Московской Руси (особенно после окончательного торжества иосифлян) было во многом показным, натянутым. Атмосфера макариевского вероисповедания скорей может быть названа тяжеловесной, нежели свободной: догмат был сильнее чувства, обряд выше иерархии, традиция торжествовала над Образом. Когда человек перестает чувствовать свободу в Церкви, он соблазняется искать вольность в миру *{11}. Это от недостатка усилия, духовной работы (пробиться от временного к вечному). Но из любви к братьям вероучение должно строиться так, чтобы

пространство раскрывалось сразу, как раскрывается оно, к примеру, у исихастов: не только полное отсечение своей воли и строжайшая дисциплина, но и космос умного делания по учению Григория Синаита. Попытки силой государственной власти подтвердить монополию на Истину облегчили укорение религиозной одержимости у отрицающих Бога социальных реформаторов. Свобода в вере не была очевидна для всех, и поэтому рабство вольности не стало понятно многим.

Но быть может история достаточно уже поучила нас? Быть может наконец мы усвоим, что человек либо раб Божий, либо слуга людей, или, еще хуже, идей, толков, слухов, всего того, что называют "стереотипами массового сознания".

Россия свою миссию воспринимала прежде всего апокалиптически: с первых дней Московского царства взоры были обращены к антихристу и ко Христу Грядущему. Подобная устремленность сыграла самую отрицательную роль в отечественной истории (вспомним хотя бы Раскол), и сегодня нам хотелось бы ее изжить, тем более, что опыт поколений свидетельствует: всякая экзальтация есть не-свобода, взвинченные нервы не имеют ничего общего с христианским смирением и христианским подвигом. Дата второго пришествия, дата конца света скрыта от людей, и все попытки вычислить ее - кабализм, языческие гадания, халдейская мудрость, что угодно, только не православный взгляд на историю. Нам нужно помнить, что судьба человечества, исход времени - в руках Господних, а Россия - не земля праведников, но земля христиан, которым надлежит исполнить не обязательно последнюю, но существеннейшую работу здесь, долу - отвратить людей от самодостаточного существования, вновь обратить их к Богу. Каждому из нас - свое дело на земле, каждый из нас в свой час предстанет на суд, ведь каждому из нас отмерены сроки. Как Моисей в дни Исхода раз за разом наставлял сомневающийся, неверный и робкий Израиль на путь Истины, на путь, ведущий к Ханаану, так и в эпоху Нового Завета, когда нет ни эллина, ни иудея, христианские народы, носители православной культуры, сумевшие сохранить в своих недрах бытие, которое есть Слово, свет Благодати, не прельстившиеся на сытую жизнь в плену египетском, будут опять и опять обращать сомневающееся, робкое и неверное человечество к Горнему Престолу.

Современное российское почвенное сознание очень часто, в поисках фундамента, на котором можно было бы выстроить "национальные государственные структуры", останавливается на

традиции соборности, которая противопоставляется идее индивидуальной ответственности, якобы лежащей в основе западной цивилизации. Подобный подход не только не проясняет, но извращает суть вещей. Соборность Единой Апостольской Церкви - понятие не просто внутрицерковное, оно по сути своей сугубо духовно и не терпит приложения к сфере Кесаря. Попытки рассматривать как основу соборности традиционную славянскую общину несостоятельны прежде всего потому, что община - феномен исторический, экономико-социальный, лежащий вне жизни Духа, ибо община, когда она существует, накладывается на человека как необходимость. Более того, в рамках общины не реализуется свобода выбора, исчезает ответственность человека за его судьбу; групповые предрассудки и предубеждения властвуют над сознанием. Тем более противоестественны попытки представить как "соборные" советские формы коллектива - нам слишком хорошо известна направленность подобного рода общностей *{12}. Идее равноправия, господствующей в новое время, можно противопоставить только идею иерархии *{13}. Каждый элемент бытия занимает свое, ему одному присущее место в обществе - это фундаментальный закон мироздания, и возражать против него так же нелепо и бесполезно, как и возражать против неизбежности смерти. Только в рамках иерархии личность получает возможность реального выбора, действительной свободы воли, обеспеченной максимально возможной статичностью мира Кесаря, социально-политической бюрократической структуры.

Нелепо было бы говорить, что можно предложить какой-либо идеальный вариант организации общества, райский тип культуры и цивилизации и т.п. в стиле идей "эпохи Святого Духа". Мы принадлежим к условиям Нового Завета, и от Вознесения Господня до Второго Пришествия Иисуса мы будем жить под знаком господства одних и тех же сил; сущностные характеристики времени останутся неизменными. Всякое алкание социального идеала есть имитация акта творения, провокация князя-пересмешника. Речь идет только о том, чтобы направить мир на снискание благодати, на решение фундаментальных задач бытия; не изменить обстоятельства жизни, а повлиять на выбор человека, живущего в этих обстоятельствах. Все люди равны перед Богом; всем людям дано, но нет двух одинаковых даров Божьих. Уравнение всех со всеми унижает и обедняет каждого. Мы должны сыграть свою роль, быть на своем месте; ропот против системы миропорядка всегда становится ропотом твари против Творца. Только в рамках иерар-

хической структуры может разрешиться на земле антиномия между принципиальным равенством и принципиальным неравенством людей, свободой и не-свободой, антиномия, сущность которой по отношению к Церкви удивительно глубоко выразил апостол Павел: "Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа; равно как и призванный свободным есть раб Христов. Вы куплены дорогою ценою; не делайтесь рабами человеков. В каком звании кто призван, братия, в том каждый и оставайся перед Богом..." (1 Кор., 6, 22-24) "Ибо будучи свободен от всех, я всем поработил себя, чтобы больше приобрести. Для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных я был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; для чуждых закона - как чуждый закона - не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, - чтобы приобрести чуждых закона; для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых." (1 Кор., 9, 19-22).

Иисус говорит: "Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся." (Мф., 5, 6). Поколения выводили из этой заповеди непреложный закон: бороться за правду, стремиться к правде, отстаивать правду. С другой стороны, находились люди, которые всякое проявление нон-конформизма воспринимали как отсутствие смирения, свидетельство немислимой гордыни человеческой. Однако есть глубокое различие между борьбой за истину и твердостью в Истине: сражаться за Истину нельзя, она - данность, она незримо присутствует в мире и в каждом человеке, созданном по образу и подобию Божьему, она заключена в жизни, проповеди и жертве Христовой *{14}. В пылу схватки слишком легко возненавидеть соперника, сузить и извратить саму сущность откровения правды. Не стремиться к вере, не отстаивать ее, а крепко стоять в ней." Стяжи мир в душе своей, и вокруг тебя спасутся тысячи"; - проповедовал преп. Серафим Саровский.

Иисус говорит: "Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестье, за сына Человеческого" (Лк, 6, 22). Прощение врагам и молитва за врагов - вот христианский, православный путь борьбы за свои идеалы. Иначе исчезает возможность выбора, и ты подчиняешь себя логике схватки, логике необходимости.

Великий Инквизитор и Антихрист - два (суть одно) страшных соблазна для рода людского. Но следует помнить, что всякое восстание твари на Творца есть бунт бессмысленный и беспощадный, и кончится он ничем (небытием).

Можно ограничить страсть, можно ввести ее в рамки приличий. Чтоб зверем не стать, чтоб соседи уважали. Но если мы хотим властвовать над страстями, а значит и осуществить свою свободу - существует только два пути. Первый - канонический - дисциплина ума и сердца, строгая аскеза, смирение и монашеский подвиг - нам открывает Церковь. Второй - куда более опасный - дойти до крайней степени пресыщения, сжечь желания в огне желаний - указывают самые смелые из мистиков. Россия прошла и через святость и через ярость греха, она испытала и иступление и аскезу. Это дает нам надежду: преодолеть вольность и утвердить свободу. Тогда на руинах современного мира возникнет новая культура, которая ни в коем случае не будет "оргией потребления", но не станет и возвратом к средневековью *{15}.

Такой видится миссия России. Хочется верить, что она будет претворена в реальное историческое бытие.

*{1} Мы не склонны по-шпенглеровски разделять понятия "культура" и цивилизация; смысловая оппозиция, предложенная автором "Заката Европы" представляется искусственной.

*{2} При анализе причин подобного максимализма обычно забывают одну из самых существенных - направленность российской государственности. Русская монархия мыслила себя в первую очередь в сфере Духа, и поэтому всякую полемику с собой переносила с проблем конкретно-политических на более фундаментальные вопросы.

*{3} б.м. отсюда и ленинское - "или диктатура рабочих или диктатура эксплуататоров". Однако мы не станем радовать русофобов: участь тех, кто предпочел мещанское благополучие самой возможности страдания, куда как плачевнее.

*{4} Мне не раз говорили, что возможно и иное толкование Иисусовой заповеди. Однако думается, что Новый Завет есть именно тот текст, где представлено все многообразие смыслов; каждое слово там ближе всего к своему Источнику.

*{5} Мы намеренно опускаем здесь анализ причин возникновения западничества. Однако думается, что суть дела - (рокового дела не только для православного, но и для Востока вообще) в характере европейской науки, в ее очевидных плодах,

не скрытых, но явных результатах. Попытки объяснить европейскую направленность XVIII в. проникновением немцев всех родов и мастей в Россию не выдерживают критики. Петр I, изрекший, что "невежество наших предков помешало наукам проникнуть далее Польши" - был совершенно русским, по крови.

- *{6} Ироничную и неглупую статью Татьяны Щербины в Даугаве (N 1 за 1990 г.) можно было бы расценить как крайнюю форму русофобии. Однако в данном случае мы сталкиваемся не с сознательной подтасовкой фактов, а с набором метких и остроумных наблюдений, из которых делаются "оборотные" выводы. Мироззрение автора, отрицающего саму возможность "Большого смысла" жизни говорит само за себя.
- *{7} Важнейшим представляется вопрос о трансформации христианства на Западе и ее исторических корнях. Думается, что протестантизм, и в несколько меньшей степени - католичество, понимают свою роль сугубо внешне, подчас грубо социальное; по крайней мере, не ставят перед собой задачи изменения метафизической ситуации, обращаясь в первую очередь к общественной морали; даже самые сильные западные христианские мыслители - Г.Марсель, Т. де Шарден - проходят мимо историософской проблематики; исключение составляют здесь разве что французские "новые правые", религия которых основывается скорее все-таки не на любви к Богу и человеку, как созданию Господнему, а на привязанности к средневековью, поэтому их философия носит реакционный (в смысле ответа на сложившуюся культурно-историческую ситуацию), а не творческий характер.
- *{8} Было бы нелепо отрицать правовое государство в принципе. Правовое государство неприемлемо именно как самоцель, как идеал общественного устройства; помимо того, с нашей точки зрения, подобная модель не оптимальна, если подходить к социуму с позиций тех духовных задач, которые ставит перед человеком его жизнь.
- *{9} В историко-культурном аспекте особенно забавным представляется попытка Ю.Н.Давыдова строить свою аргументацию против Ж.П.Сартра, опираясь на Л.Н.Толстого. Сартр - в лучшем случае - доводит до абсурда именно ту линию, которую яростно защищал яснополянский "гуру".

- *{10} Взгляд, противоположный столь популярному в 60-е гг дзенскому: здесь постулируется не пустота значений, а возврат к Источнику.
- *{11} Здесь очень интересно было бы рассмотреть внутрицерковные причины формирования комплекса идей нового времени на Западе, но это увело бы нас слишком далеко в сторону.
- *{12} Специального рассмотрения заслуживает теория И.Шафаревича о "большом" и "малом" народе. В ней - при всей культурологической неоднозначности - очень опасное преклонение перед позицией большинства. Следует заметить, что христианство нигде, никогда не начиналось, как вера и культура "большого народа", и по сути своей - сверхнационально. Сохранение индивидуальности нации в христианстве (в отличие от унификации в современном космополитизме, вавилонском башнестроении) - большая и очень интересная проблема. Каждый народ принес в Церковь свой собственный вклад, соответствующий его душевному складу и духовному опыту.
- *{13} Мы сейчас не будем подробно разбирать работу Н.Бердяева "Философия неравенства". Однако нам представляется, что леонтьевская аргументация против демократических концепций внутренне более убедительна (хотя внешне порой и не слишком выдержана), нежели все построения соловьевцев. У философов русского религиозного Ренессанса начала века ощущается их "интеллигентское прошлое".
- *{14} Здесь следует делать различие между борьбой внешней и духовной бранью, которая как раз и становится путем преодоления собственной самодостаточности. Опыт католицизма ясно показывает нам, сколь опасно выводить "духовную брань" за ограду монастыря, из сферы Духа. "Я преследую ересь, но не еретиков" - говорил св. Иоанн Златоуст. "Задача инквизиции - писал Бернар Ги - истребление ереси; ересь не может быть уничтожена, если не будут уничтожены еретики; еретики не могут быть уничтожены, если не будут истреблены их украватели, сочувствующие и защитники."
- *{15} Идея "нового средневековья" представляется достаточно зыбкой игрой с терминами.
-
-

Вероника МУРАШЕВА

О ЧЕРК ИСТОРИИ РУССКОГО ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ

(Сентиментальная исповедь)

Развитие русского интеллигента предполагает странности. В детстве и в ранней юности я мало думала о том, о чем положено думать девочке и юной барышне. Мысли о нарядах, о мальчиках тщательно и сознательно подавлялись, как пошлые и мало "духовные" - таково воспитание. Самые сильные переживания - "судьбы России". Лет в пятнадцать я была твердо убеждена (не на словесном уровне, а на уровне подсознания), что до двадцати пяти не доживу, потому что Софья Перовская была весьма молода, когда взмахнула платочком на Екатерининском канале в Петербурге. Ее судьба казалась мне естественной и единственно возможной.

Самые глобальные для себя открытия я, как правило, делала в метро. Однажды, когда я ехала в вагоне Кировско-Фрунзенской линии и внимательно рассматривала унылые лица пассажиров, до боли в сердце и выступивших слез меня поразило - ведь вот они, эти люди, во имя которых была повешена моя любимая героиня, пятеро декабристов и многие другие. Ведь осуществилось же то, на что была направлена духовная работа и мученичество XIX века (восприятие школьницы эпохи "застоя"). Каков же вывод? - Мы должны, обязаны быть счастливыми (если столько достойнейших людей погибло за это, и я изо всех сил начала стараться быть счастливой).

Еще одна история. Преподавание литературы в школе было направлено, в частности, на формирование у нас некоей иерархии ценностей. На верху этой лестницы незыблемо сияла "борьба за освобождение человечества", как высшая добродетель и единственный смысл жизни (вопрос о том, как же быть нам - "освобожденному человечеству" - за что бороться? - как-то не вставал). Помню разбор "Евгения Онегина": в конце романа Пушкин оставляет героя "в минуту злую для него", перед ним, как нам объясняли, лежат два пути - либо он, принадлежа к поколению декабристов, может попасть в их ряды, либо - уйти в частную жизнь (а это разве жизнь?!), стать неким Онегиным-Обломовым (а это -

плохо). Мучительно, молитвенно хотелось, чтоб герой стал декабристом, и его жизнь, дал бы Бог, обрела искомый смысл.

Мой дедушка был старым большевиком. Все детство на даче над моей головой грохотали шаги поднимающейся на второй этаж полной мрачной женщины по фамилии Бронштейн. Потом я узнала, что то была двоюродная сестра Троцкого.

Так что история русского освободительного движения - это, в какой-то степени, - мое личное переживание.

* * *

Теперь истоки: XVIII век, Екатерина II, эпоха просветителей в Западной Европе. Однако некоторые произведения Вольтера, энциклопедия Дидро запрещены французской цензурой. Другое дело в России. Удивительно, но нигде просветители не читаются так широко образованными слоями общества, как у нас, в самой "несвободной" из европейских стран даже императрица состоит с некоторыми из французских писателей в переписке. Именно в это время и благодаря названным обстоятельствам формируется удивительный психологический феномен раздвоения сознания на бытовое и "отвлеченно-духовное". Парадокс заключается в полном несоприкосновении этих двух миров, в "скольжении" их друг относительно друга. С одной стороны, образованная верхушка общества легко и *естественно* пользовалась всеми благами, предоставляемыми "рабством", с другой "предавалась чудесным мечтаниям, навеянными книгами иноземных философов" (блистательный анализ этой эпохи см. у В.О.Ключевского в "Курсе русской истории"). Совмещения двух этих миров, мысли о применении "мечтаний" на практике вообще не возникало

Стыковка двух миров происходит в начале XIX века, возникает вспышка - рождение нового явления, формирование иных ценностных категорий - начинается первый этап освободительного движения в России (по навязшей на зубах и зудящей в голове периодизации Ленина - "декабристы разбудили..." и т.д.).

Итак декабристы. Романтический период. Очень много написано о причинах этого явления (движения). Но лучше всего послушать Павла Пестеля, с полной откровенностью дающего показания после краха выступления на Сенатской площади: "Политические книги у всех на руках, политические науки везде преподаются, политические известия повсюду распространяются. Сие

научает всех судить о действиях и поступках правительства: хвалить одно, хулить другое". Все то, что перечисляется, все эти факторы уже были, существовали и в XVIII веке. В чем же разница? Читаем показания Пестеля дальше... Как мне кажется, далее он делает гениальную догадку: "К тому же имеет каждый век свою отличительную черту. Нынешний ознаменовывается революционными мыслями. ...Дух преобразований заставляет, так сказать, везде умы клокотать". Догадка - это, конечно, не разгадка. Да и разгадки, в смысле полного логического постижения хода истории, видимо, быть не может. Неисповедимы пути Господни, но есть интересное понятие - "дух времени", воспринимаемое скорее на интуитивном, а не на рациональном уровне. Нам остается лишь констатировать факт - зарождение революционного движения в начале XIX века под большим влиянием идей, пришедших извне, из Западной Европы.

Никто не свободен от своего времени. Можно, конечно (и это сладостно), ностальгировать о временах былой духовности и проклинать эпоху Возрождения, определившую всю последующую европейскую культуру благодаря зарождению в эту эпоху личного самосознания и позитивных научных знаний. Но развитие пошло именно этим путем. Можно биться над вопросом, что было бы, если бы Россия существовала на острове, и лучше всего, чтобы он был расположен в районе мало достигаемом, скажем, на месте Антарктиды. Можно биться над никогда не разрешимым вопросом, что было бы, если бы Россия не испытывала проклятого влияния "Запада", Европы (уже сформировавшись, испытывая разнообразные сильные иноземные влияния - скажем, Византии, или Востока - Золотой Орды).

И все-таки, освободительное движение в России - явление чисто национальное. Произошла трансформация явления западноевропейского в русское - как в его проявлениях, так и в его восприятии.

Основная привлекательность декабризма заключается в парадоксе: русское дворянство против самого себя. С.С.Аверинцев, анализируя особенности русской духовности и ее отличия от западноевропейской и византийской, в качестве одного из краеугольных камней называет образ страстотерпца - воплощение чистой страдательности. Отсюда - огромная популярность святых Бориса и Глеба, не совершающих никакого поступка, даже мученического, а лишь приемлющих свою горькую чашу. Конечно, декабристы - это не Борис и Глеб, но все же идея жертвенности в

XIX в. получает новую жизнь и формулируется в известной фразе: "для народа, но без народа". Однако, в восприятии русского общества (как среди современников, так и среди потомков) наибольшим почтением были окружены не декабристы, а их жены, добровольно отправившиеся вслед за мужьями в сибирскую ссылку - это уже и впрямь Борис и Глеб. Один из участников движения, Михаил Лунин в работе "Взгляд на русское тайное общество с 1816 до 1826 года" пишет о "религиозном чувстве", которое люди "питают к женам, разделяющим заточение мужей своих".

И все-таки, несмотря на определенную привлекательность декабризма, именно декабристы сбросили первый камень с горы, вслед за ним скатились иные, из которых была выстроена новая, перевернутая с ног на голову шкала духовных ценностей. Декабристы впервые продемонстрировали, что можно положить жизнь за некое социальное переустройство (на прочие стороны жизни, на религию они и не думали посягать). Новая ломка ценностных категорий произошла уже в следующий период. Декабристы, как известно, разбудили ...

Мы не будем буквально следовать предложенной нам схеме, пропустим Герцена и перейдем к народникам. Обратимся сразу к источнику, выбираем книгу Сергея Степняка-Кравчинского "Подпольная Россия", в которой последовательно изложена история партии "Народная воля" и даны портреты самых знаменитых ее членов. Автор работы - известный революционер, дерзко осуществивший одно из первых в истории русского терроризма политических убийств; ударом кинжала в грудь он поразил шефа жандармов, генерала-адъютанта Н.В.Мезенцева. Прежде всего бросается в глаза рождение нового литературного стиля, отражающего новый душевный строй и до жути напоминающего наш казенный язык (это вам уже никак не "милостивый государь"..., это типичное "товарищ!"...).

Степняк-Кравчинский прекрасно излагает истоки формирования нового мировоззрения и все его черты. Не поленимся и мы пройти за ним и восстановить черты всей этической системы. Основу пирамиды составляют две позиции: индивидуализм ("отрицание, во имя личной свободы, всяких стеснений, налагаемых на человека обществом, семьей, религией" - можно было бы оставить это без комментариев, но невольно возникает вопрос - что же, в сущности, остается?) и материализм, обусловленный развитием естественно-научных знаний. Опираясь на эти два кита, нигилисты начали свою борьбу за духовное переустройство с "битвы

на почве религии" и утверждали в гордыне, что "христианство пало, подобно старому, полуразвалившемуся зданию, которое держится только потому, что никому не вздумалось напереть на него плечом". И еще невозможно удержаться от цитаты: "Атеизм превратился в религию своего рода, и ревнители этой новой веры разбрелись подобно проповедникам по всем путям и дорогам, разыскивая везде душу живую (не совсем мне ясно, что же вкладывалось в понятие душа), чтобы спасти ее от христианской скверны" (здесь уже видится какая-то изумляющая воображение *наоборотность*, подмена смысла слов; конечно, вспоминаются "Бесы" Достоевского).

Нигилизм шестидесятых и последующее народничество семидесятых, в отличие от декабризма, являются всеохватывающими, глобальными системами. Это уже не просто борьба за гражданские права по примеру западноевропейских, за отмену "рабства" - здесь стремление переменить все стороны жизни, включая отношения между мужчиной и женщиной (пресловутая эмансипация, достигшая таких успехов в этот период - борьба за "развитую подругу жизни") и дружеские отношения. Степняк-Кравчинский описывает взаимоотношения в кружке "Чайковцев" (один из первых народнических кружков, возникший еще в 1869 году): "Малейшее проявление эгоизма или недостаточной преданности делу замечались, указывались, иногда вызывали порицание" (сразу выплывают воспоминания о комсомольских собраниях, на которых считалось возможным - и я тоже так считала - не принимать человека в ряды ВЛКСМ из-за недостаточной внимательности к товарищам или недостаточной твердости характера).

И, наконец, после "разрушения религий" возникает новая цель, усваивается социалистическая идея ("евангелие наших дней - социализм", "великая социальная идея нашей эпохи - освобождение рабочего"). Вот и достроена пирамида ценностей, вот и воссияла наверху звезда - "борьба за освобождение человечества". Понятия перевернулись, и началась борьба за создание рая на земле, понимаемого довольно пошло и скучно (некоторое полное социальное переустройство, как панацея от всех проблем).

И все-таки. Жертвенность, как связь времен, остается. И именно в этом смысле надо говорить о духовности народников, духовности, понимаемой в данном случае в качестве противоположности утилитарности, представлениям о *собственном* желудке и благополучии.

Известно, что по мере продвижения от первого этапа освободительного движения к третьему, все ширилось число его участников и приверженцев. Однако, этическая наполненность его уменьшалась в обратно пропорциональной зависимости. От романтизма, даже поэтичности декабристов-дворян ("зачем кружится ветер в овраге?..."), выступивших *против* дворянства же, через отчаянную жертвенность народников (но здесь уже в нашем восприятии превалирует "за что-то", а не "*против*"), к рабочему движению и социал-демократии, представляющим собой явления уже просто не этического порядка (борьба рабочих за *свои* права - явление, относящееся к социальной истории).

(О третьем этапе освободительного движения писать совсем не хочется. Для меня он воплощается не столько в социальной доктрине, сколько в этическом символе: "Слушаешь бывало Апассионату и хочется людей гладить по головке, а людей по головке надо бить".)

Вот и выстроена иерархия ценностей, во главе которой стоят ценности социального порядка. То или иное социальное устройство столь же неизбежно, как пищеварение, но есть ли смысл ставить пищеварение во главе иерархии духовных ценностей - что же может быть нелепее и трагичнее?!

Путь пройден, и он был именно таков. Может быть, стоит рассматривать его, как своего рода искушение для рода человеческого, ниспосланное, чтобы понять, - Царство Божее - не от мира сего?

А.НЕРЛИН

**РУССКОЕ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ:
КОРНИ И КРОНА**

(взгляд дилетанта)

1.

И все-таки сначала о том, что мы собственно считаем русским освободительным движением. Ствол. Тайные общества. Народники. Народовольцы. История их зиждется на нескольких именах, за которыми - пустота, мрак. "Плеханов, Игнатъев, Засулич, Дан, Аксельрод", - нехитрое мнемоническое правило удержало в нашей памяти. Кто еще? Ну, декабристы. 80 человек (по именам помним пятерых). Разбуженный Герцен. Добавить еще имен 200, в историю почти не запавших, и список будет закрыт.

Белинский? Добролюбов? Девушка, рвущаяся к труду на благо...? Нет. Это уже не ствол, это - крона. Здесь действительно богато, здесь - движение, но не чисто политическое, не прямо "освободительное". Ветви, побеги, листья.

Продолжить это ботаническое сравнение - так, оказывается, на каждом листочке свои козявки, тли, бабочки порхают меж ветвями, птицы в кроне поют, а ствола совсем не видно. Полноте! Да был ли он? Ведь, кажется, есть такие кустарники, что и вовсе без ствола обходятся, сразу от корней - ветки...

"Нет!!! Был!!! - стучат сухой деревяшкой по столу. - Как же, вот он! ПлехановИгнатъевЗасуличДанАксельрод." Полноте. Что за аргументы? Давайте без стука.

2.

Вот корни действительно были. Франция. Штурм Бастилии (не Петропавловки!).

И в "прорубленное окно" все это дело отчасти видели. Вскоре (в 12 году) и посмотреть сходили, как оно там получилось. Ничего. Даже камня не осталось, (чтобы "имена писать"). Правда, кончилось у них как-то не так, но теплый французский ветер быстро сушит слезы.

А у нас в России слезы замерзают.

3.

Но - корни, корни! Страна земледелия, страна богатых почв. К тому же, крепостная ("бастильная"!) зависимость. Мы только что вышли в Европу, как мальчик входит на взрослую вечеринку.

"Здравствуйте, молодой человек. Как у вас с и д е я м и? - слышится со всех сторон. Да. Своих пока нет: как-то не знали, не думали, все больше любовью да ненавистью...

Но - почва: ум, талант, совесть.

4.

Не дерево, а засеянное поле. Не десятки городов, а тысячи деревень. Не 20 человек в полутемном кабинете, а - страна, в которой 50 миллионов слова такого - "кабинет" - не знают. Родина.

Боже мой, за что им, пятерым, в петлю на гласисе форта? Европа, прими дань: это - твое. Страна молчит. Но и в молчании она идет своей дорогой, ветви прямо из земли: ствол не нужен, опорой - твердь.

5.

Сотни мыслей. Философия. Науки. Искусство. И вот начинает формироваться - в европейском понимании - ОБЩЕСТВО. Не "тайное", которым пытались опередить, а гражданское. Хорошо ли, плохо ли - от мировой истории не убежишь. Вот и своя "Бастилия" (Петропавловка), и не летописи, - а "История государства Российского", и - того же автора -

"Жалеть о нем не должно.

Он стоил лютых бед несчастья своего,

Терпя, чего терпеть без подлости не можно!"

А уже сколько угодно читателей, прекрасно знающих, что речь вовсе не о Риме и не о Таците.

И правда, не Рим.

Холодно.

6.

Но крона растет. Растет без всяких подпорок, без ствола, зато корни - на весь мир (теперь больше в Германии). Философия. Кант, потом Гегель, Фейербах... "...туманной привез учености плоды..." - написал Пушкин (и, верно, очень веселился). Но нет! Туман рассеялся - глядь, стоит Белинский. Ствол? Точно. Древесина.

Талантливый человек, горячий как полено в печи, нет бы и ему на улицу, "пожар раздувать", брать петробастилии, ан нет - в литературу.

И еще - Добролюбов, молодой такой, и, главное, сразу одеревеневший, без всякого "тумана". Опять - литература. Все прогрессивные силы литература выпила, аж самой плохо стало. А какая славная фамилия у человека была!

Но - крона, крона. (Был, однако, слух, что ездил потом, чахоточный, к Гарибальди в Италию: лет через сто кто-то сообразил. Да все равно ж не помогло ни тому, ни другому!) Увы.

7.

Еще вроде как ствол: Герцен с Воробьевым на Огаревых горах. Поклялись в вечной дружбе и уехали в Лондон. "Колокол" их названивал над петровским окном.

Ну что ж, читали, да только совсем иностранное что-то получалось. Горячо, да глухо. Байрон - и тот больше своим мужиком оказался, "прирос". А тут - ствол не ствол, палка какая-то с тремя листочками, сама по себе.

8.

Но вот и Чернышевский, и Некрасов, и "Современник", и - уже похоже, похоже! Опять, правда, литература, однако уже и в кавычках: листовки, прокламации. "К топору зовите Русь!" Пишут между строк, а Писарев (тоже между строк) всем объясняет.

Но где ж тот топор? Из бумаги? Игрушка, занятая игрушка. Читают захлебом, спорят, сами пишут... А страна лежит - великая православная страна, с великими талантами. Не "топор" - жены декабристов едут в Сибирь. Не "бунт" - романтические барышни идут зарабатывать на жизнь своим трудом. Пишут Гоголь, Тютчев, Достоевский... Сама по себе растет крона - и вплетается в нее некрасовский стих, и сучком остается автор "Что делать?", а ствола - нет.

9.

А если и ёсть какая-то "настоящая" внутренняя политика, так вот она: 1861 год. В сущности, все само по себе. Никто не толкал. Время толкало.

10.

...Смена государей. В каждое царствование - волны: левой, правой... И вот что интересно: чуть левой - оживает общество, оживают надежды, и голоса все дерзостней. Чуть правой, умолкают. Не "власть" подчиняется: подчиняются власти. Казалось бы, "завинти гайки" - взорвется... Но нет. Почти нет противодействия. Зато чуть откроется щель - такой "демократический фонтан", что удивляешься: как раньше жили? Знакомая картина... лет сто спустя.

11.

Однако - все-таки 1861 год, реформы. Слава Богу, крепостничества больше нет. И тут - начинается...

"Мало! Мало!" Да, пожалуй, мало. Но не все ж сразу...

А почему бы и нет?! Все! Сразу! Надо только пойти в народ, войти в эту гущу ветвей и прирастить их к крепкому стволу. Вот он: социализм.

И правда, здесь уже есть понимание: народ един, народ - сила. Вот только что за сила и почему он един? Чем-то он отличается от европейских... Это Тютчев писал: "...умом не понять...", да все ж - попробуем.

12.

Народники.

Хорошее это дело было - "идти в народ". Главное, безобидное. Когда читаешь какой-нибудь революционный роман про те годы, и герой "уходит в народ" - сразу отлегает от сердца...

Однако - позвольте: вот "движение"! Народничество. Атеисты с христианской жертвенностью в сердце. Много ли, мало - а поверье было. Народ слегка освобожден - можно в него "идти", как в землю обетованную.

Шли, правда, по-разному: единицы (претендующие на знания "ствола-мессии") - с листовками, с "горячим словом убеждения". А большинство - все те же удивительные барышни и интеллигенты, с тем же, еще "декабристским", чувством вины какой-то своей перед ним. Все-таки - понять, услышать, самим научиться... Опять, выходит, крона, а не ствол.

Что толкало их?

Совесьть толкала, а не "цель".

Да, движение. Да, народничество - движение! Но не политическое, не социальное, а - духовное. Освобождение от вины

(мнимой ли, подлинной - суд будет ТАМ) - от вины, чувство которой исторически уже прочно вошло в их круг. А те, у кого была, цель", кого мы перечисляем по хрестоматийным пальцам (Плеханов Игнатъев Засулич Дан Аксельрод...) - люди того же круга, той же душевной чистоты и совести, - внутри, но смотрящие на мир сквозь шторы научных, социальных идей. *{1} Корни, корни! Запад, Европа...

Но Европе такое и не снилось.

13.

"Нигилизм" - сказал наконец Тургенев, и история, содрогаясь, повторила.

"Нигилизм". "...Это - состояние ума, с трудом поддающееся определению; оно резко отрицает все, что не является наукой, на науку же смотрит как на единственную истину, единственное добро, более или менее ясно заключая, что это и есть то орудие, которое уничтожит заблуждение и тиранию... *{2} - с удивлением сформулировали Лависс и Рамбо. Не удивляйтесь, господа! Этого тоже "...умом не понять...". Правда, "аршин" все-таки был европейский, просветительский, но уже родился Лобачевский, допустивший его кривизну в районе Казань. Крона, крона шелестела!

14.

И вот - опять попытка "подвести ствол". Бедный Каракозов (кстати, только что выгнанный "за бедность" из Казанского университета) смазывает пистолет.

С народом ничего не получилось. Нет "движения", хоть убей... А!?

Все это дельно сказано. Уж коли вся политика делается "сверху", туда и будем целить. Народ безволен - так станем его, народа, волей! Насильно осчастливим.

Течение? Движение?

Да нет. Только пули движутся. Пули движутся быстрее сотрудников "третьего отделения".

Ощущение лихорадочной гонки. На "старте" - небольшая группа, человек 30. "Народная воля". Спешат, путают провода от запалов, не успевают прицелиться...

Страшный марафон.

Куда бегут - сами еще точно не знают, к какому-то марксовому "социализму" (который вроде как на другой стороне земли: какой шаг ни сделаешь - все к нему)... Но нет: знают - куда. К петле. К эшафоту.

15.

Все из дворян, из разночинцев. То же чувство вины. Та же романтика, что у декабристов (кинжалы, скрещенные над чашей горящего пунша; а это не 1825, это 1881 год!).

Правда - вот, мелькнул и сам "народ": столяр Степан Халтурин мрачно тащит динамит во дворец. Фамилия, конечно - насмешка над рабочим человеком... Или символ, судьба?... Но - пытался перекритичить до последнего, все сделал на совесть, не придерешься. Однако зря фамилии не дают: грохнуло, 17 человек задавило, царь - живой.

16.

И - эшафоты. "Бегунов" все меньше. Нет, это не "движение", это - марафон, бег из последних сил. Наконец - финиш: взрыв на канале. Все. "Свершилось!"

А что - свершилось?!

Человека убили, вот что.

Привкус какой-то жуткой антиутопии, "охота на людей". Уже был Нечаев, уже "Бесы" написаны, и "народ безмолствует".

Нигилизм...

Ну, еще бы ему не запасть после этого в историю: Герострат - и тот запомнился...

17.

Но и не Эллада, слезы в России замерзают.

Даже "одна слезинка ребенка" по сей день лежит на щеке истории... *{3}

Однако - стук молотков. Строят виселицы.

Потрясенный Гаршин у ног министра. Толстой пишет Государю. Вот - "движение": простить, не брать "кровь за кровь"...

18.

В 1825 году к казни "отсечением головы" был приговорен 31 человек, пятеро - к четвертованию. Царь смягчил приговор. Потом - на долгие годы - полная отмена смертной казни. Теперь, после выстрела Каракозова, открывшего "забег", снова строят виселицы. Еще остается надежда... Нет. Петля затянута. Но они и не ждали иного: по их же математике получилось.

Примерное равенство.

Сколько ("виновных" и невиновных) застрелено, заколото,

взорвано - столько и повешено, сгноено в тюрьмах... Может быть, тоже "виновных" и невинных. Страшный счет. Но - "Аз воздам...".

"Цель оправдывает средства" - говорили они.

Да, это действительно так. Цель оправдывает. Душа и сердце - никогда.

Страшные, нелепые дни.

19.

Так что же это было?

Мы начали с заглавия: "Русское освободительное движение"; а перед нами одни осколки. Почти ничем не связанные группы людей там и тут, в сущности никак не повлиявшие на жизнь России. Они возникали и исчезали, не оставляя следов: Все, что ими достигнуто - мученическая смерть "за идею", благоговение потомков... Но разве к этому они стремились? Неужели - только к смерти?

20.

Увы. Только общая судьба - вот и все, что их связало друг с другом. Именно судьба - эшафот и каторга - соединили в нашем сознании декабристов, народовольцев, петрашевцев...

Жертвенность, мужество, идеализм - качества, которые они считали в себе лишь средством для достижения цели. Но именно средство и оправдало их, занеся на внимательные страницы Русской истории: не в виде "движения" или "течения", а - несколькими именами.

21.

Сегодня можно применить к минувшему веку много гипотез. Теория Льва Гумилева... Пассионарии... Что ж, может быть. Так или иначе, XIX век - время расцвета России. Литература, наука, общественные институты. Время глубочайших нравственных исканий, освещенных верой. Время, когда Россия показала свою силу, безболезненно принимая все лучшее со всего мира и превращая в свое, национальное. Силлабическая поэзия. Географические открытия. Математика Лобачевского. Освобождение крестьян. Гражданские суды присяжных...

Крона, крона!

И то, что мы зовем "Русским освободительным движением", пытаясь взвалить на него все волшебное разнообразие ветвей, вовсе не есть ствол. Такие же одиночные побеги, рожденные об-

щим ростом и отхваченные безжалостными ножницами истории,
- только и всего.

10.5.1990.



- *{1} Число и силу таких людей в глазах русского общества сильно преувеличили последующие события...
- *{2} В основном - химия: нитроглицерин, динамит, гремучая ртуть.
- *{3} Кстати, в последнее покушение взрывом на канале был убит мальчик-возница...



РАРИТЕТЫ ТВЕРДОГО ЗНАКА

Архиепископ Иоанн (Шаховской)

РЕВОЛЮЦИЯ ТОЛСТОГО

(К истории русской интеллигенции)

Небольшая работа отца Иоанна (Шаховского) посвящена, по его собственным словам, "истории восстания Льва Толстого на веру Церкви в духовном климате России и русской интеллигенции конца XIX - нач. XX в.". Согласно глубокому убеждению автора, "духовные искания и нравственные борения Толстого требуют прежде всего духоведческого анализа, пневматологического исследования". Первое издание этой книги вышло в Берлине в 1939 г. под названием "Толстой и Церковь". Оно было осуществлено как ответ на опубликованное двумя годами раньше в Париже сочинение Ивана Бунина "Освобождение Толстого". Второе издание (Нью-Йорк, 1975) автор посвящает "новой интеллигенции России, бережно вникающей в евангельскую правду".

* * *

Полемизуя с И.Буниным, пытавшимся объяснить феномен Толстого, о. Иоанн отмечает: "Бунин знал Льва Николаевича лично. Это его преимущество, как биографа, тем более художника, но это и мешает ему, как историку и философу. Ни как философ, ни как историк, он не открывает читателю Толстого". Чтобы понимать любое непростое и противоречивое явление в жизни, полезно смотреть на него с некоторого расстояния, отстраненно, а также опираться на собственно духовный опыт, который дается нам по преимуществу во многовековом опыте Церкви.

"Наследие Льва Николаевича, воспоминания его близких и современников ясно свидетельствуют о том, что Толстой не всегда был самим собой в своих мыслях и переживаниях. Мы говорим, конечно, не о посессии - полной потере духовной свободы, а о менее заметном состоянии - обсессии, при котором сохраняется в человеке рефлектирующий (иногда очень обостренно) разум и свобода нравственной оценки. Лишь учитывая этот реальный (и не редкий вообще в жизни человека и человечества) феномен, можно объяснить все не понятные никаким биографам столь внезапные перемены в характере Толстого и столь удивительные противоречия в его настроениях и убеждениях."

Только "в категориях евангельской глубины открываются тайны человеческие. То, что выше логики и превышает психологию, то открыто христианской пневматологии.

И только в ее категориях можно объяснить, почему Толстой, так много писавший о любви и так к ней стремившийся, был временами так сух и жесток... Этим так же выясняется причина быстрого развала как отдельных начинаний Толстого, так и всей его жизненной постройки, ради которой он оставил свой дар и семью".

"Духовные основы толстовства остались замолчанными и не опровергнутыми в сознании русского человека... Отгородившись от толстовства и всех его анархических и метафизических теорий (отчасти иронией, отчасти умолчанием), русское общество... прониклось разлагающим и опустошающим духом толстовской религиозности. Ее правда оказалась обеспеченной "золотым запасом" правдивой художественной интуиции Толстого... Пророческий голос яснополянского старца стал слышаться как "дух подлинного пророчества"... Если моралистическая догматика толстовства не принималась так легко, то яснополянское пророческое горение... казалось горением не только русской, но и мировой совести."

"Им постоянно что-то овладевало, смешиваясь с его волей, и отторгало от глубин художественного созерцания на песок мелких дидактических выкладок. Это "нечто" заставляет его рационалистическими выкладками обосновывать невероятные истины... делая его возбужденным и хладным для истинного творчества и для людей."

"Припадки внезапного бешенства в жизни человека вообще, а в жизни Толстого особенно, нельзя объяснить ничем, кроме как *одержимостью*. Этого состояния 99% человечества не понимают совершенно. Толстой ни разу в своей жизни не догадался о подлинной сущности этих феноменов".

"Почему Толстой все-таки не *исцелился* и не *освободился* (вопреки Бунину) в земной жизни, хотя и рвался к духовной свободе и томился по ней, как мало кто из писателей? Автобиография Толстого, его дневники без слов (хотя и многими словами) отвечают на этот вопрос: оттого, что всю жизнь *каялся, но не перед Христом Спасителем*, "вземлющим грехи мира". Он, как и отец Сергей в его характерном рассказе, каялся лишь пред самим собой или пред людьми, пред миром. *От этого* Толстой был столь раздираем *ненасытным* самобичеванием... Оно не удовлетворяло его и не

спасало, не разрешало от тяжести греха. Оно оставалось "холостым и холодным при всей титанической напряженности самобичевания и самоощипывания. Его покаяние не меняло его души, а лишь в крайнем случае меняло его убеждения, или - внешние его одежды. В этом сущность религиозности Толстого. Он не знал Личного Бога, не просветлялся от Него, как сын, не стоял пред Лицом Его и не хотел верить, что во Христе открывается вся та полнота Божия, которую только может вместить немощное сознание человеческое... Толстому не было хода "назад", в Индию, в Китай, к Бrame или Будде, ибо если браманистам и буддистам, не знающим Христа, и может являться Христос в "естественном" открытии (как учит Церковь), то ему, Толстому, стоящему вплотную пред открытой Истиной Христовой нет хода "назад".

"Следуя мудрости нехристианского Востока, Бунин строит свою основную мысль так: "Толстой в своем неудовлетворении собою и жизнью, в непрестанной своей борьбе против себя и против окружающей жизни - *освобождался*, ибо свобода - согласно дохристианской мудрости - состоит в том, чтобы "не жить в довольстве..." Самый факт "неуспокоенности" трактуется как признак святости. Детская, малодушная боязливость перед женой, не царственно свободный, а воровской уход из Ясной Поляны, боязнь погони - все это не освобождение, не благодатное томление духа, не святое алкание Божьей Правды, но *мучительное мытарство* нераскаянного человека, крах всех истин, ради которых было ввержено в мир столько издевательств над тысячелетней верой русского народа."

"Говоря много справедливого о мире, он ничего не открывал, никакой тайны не касался, и обличения его не таят и не знают утешений".

"Толстой временами молился, но при этом не мог перестать "думать", не мог уйти от бесконечных рефлексий своего сознания, даже на смертном одре... Душа, обремененная звучанием своей "божественности" не может войти в тишину Святого Духа... Мыслителем, а тем более пророком может быть лишь тот, кто имеет власть отходить от своих мыслей, кто может быть свободным от них в глубине своих духовных постижений."

"В "Юности" уже выявляется беспощадный "толстовский" художественный анализ нравственных переживаний. До конца дней своих Толстой останется неким литературным королем этого психологического искусства, и будет прямо подавлять своим талантом "раскапывания себя", который, впрочем, иногда отождествляют с религиозно-осмысленным раскаянием."

"Он судил себя, чтобы судить мир, и в этом своем непрестанном - искреннем, но безблагодатном самоумалении и нравственном самобиении, выковал себе "нравственное право" умалить Хозяина всякой жизни - видимой и невидимой - Господа и Спасителя Иисуса Христа... *Этого* греха Толстой в себе не заметил (ни в "Исповеди", ни в жизни)."

"Более тревожным симптомом, чем суетная греховная жизнь (могущая быть всегда омытою в покаянии пред Богом), нам представляется в молодом Толстом этот зачаток морального учительства, посреди своего греха (сочинение проповедей и пр.). Другим тревожным симптомом его внутренней жизни надо считать его "принципиальное оппозиционерство" всему и всем. Наконец, третьим симптомом трудно исправляемым на путях только человеческого совершенствования было неверие в искренность людей - всякое душевное движение казалось ему фальшью."

"Найдя *свою* религию, Толстой опять перестанет есть мясо... Но это новое воздержание уже будет не единением с семьей, не смирением перед Церковью, и, не в память страданий и Голгофы Спасителя, но во имя убиваемых животных. Этот пост будет уже легок для Льва Николаевича и останется одним из главных выражений его религии... Мечты юности (об основании нового верования - А.Р.), благодаря все возрастающей известности его имени, могли быть осуществлены (конец 70-х гг. - А.Р.) ... Титаническая работа, вставшая перед Толстым - борьба с двухтысячелетней верой - менее всего могла смутить его. Он кипел пафосом борьбы."

"Против богословских истин Церкви Толстой ничего по существу возразить не может. Он берет "Пространное изложение Православного Богословия" митрополита Московского Макария и подвергает его уничижительной критике - не научно богословской (для этого он не образован богословски), не аскетико-мистической (для этого у него нет никакого духовного опыта), но критике простого "здорового смысла"... Дискредитируя православное богословие из области чисто литературской, в которой он специалист, Толстой прибегает к такому, в сущности ничего не доказывающему приему: он возмущен стилем. Не чувствуя в этом стиле "литературной живости, и сердечной интимности, Толстой раздражается против истин, выраженных в этом труде, пророческим негодованием."

"Дьяволу, в которого Толстой не верит, он приписывает сомнение в истинности своего пути - то единственное в его сомнениях, что можно отнести к благодати Божьей".

"Сочинение Толстым нового евангелия закончилось к 1881 году, когда на всю Россию прогремел взрыв, убивший Государя Александра II... Толстой принял мертвого Христа, "человека как мы", имевшего моральные слабости и - никого никак не могущего спасти своей силой от вечной смерти... И тем началась "обновленная" жизнь нового учителя мира... Развитие добра и рост зла есть самая глубокая тайна человеческой души. Рост добра предполагает ли исчезновение зла?... Евангельская и естественная морфология допускают возможность роста пшеницы и плевелов рядом ... Человек на земле живет в испытании своей метафизической свободы. Лишь ангелы и достигшие полного сердечного очищения люди освобождены от этой "первичной" свободы произволения и укоренены уже не в свободе избрания-выбора, а в свободе - освобожденности от зла, от греха, от несовершенства... Нечувствие вопиющей и непрестанной необходимости в помощи свыше, неверие в дары Благодати - один из признаков непросветленности человека."

"Образчиком того, как искаженно представлял Толстой учение Церкви, может служить отрывок из статьи "В чем моя вера": "Церковь говорит: учение Христа неисполнимо (1), потому что жизнь здешняя есть образчик жизни настоящей (2), она хороша быть не может (3), она вся есть зло (4), наилучшее средство прожить эту жизнь состоит в том, чтобы презирать ее и жить верою, то есть воображением (5), в жизнь будущую, блаженную, а здесь жить как живется (6) и молиться. Цифрами обозначено, сколько раз Толстой обнаруживает незнание истинной веры Церкви."

"Толстой как магнит притягивал различных религиозных отщепенцев, основателей новых религий, сект, последователей различных моральных вегетарианских и гуманистических течений. Эти серые и черные птицы, слетаясь к Толстому, непрестанно поддерживали в нем сознание его великой всечеловеческой миссии."

"Великий реалист, "списыватель" душевной человеческой жизни, Толстой не отдает себе отчета в настоящей *духовной* жизни. Удивительно, до какой степени он не чувствует монашеского пути и даже не осведомлен о содержании самого иноческого пострига... Повествование об отце Сергии поражает своим духовным и чисто литературным легкомыслием, и прежде всего... потому что во всей его внутренней фабуле отсутствует то, что должно быть *самым* главным: Христос... Рассказ "Отец Сергий", если охарактеризовать двумя словами, есть какой-то монашеский кошмар: без Христа,

Восклицание блоковской поэмы "Эх-эх, без Креста" было предвещено Толстым, давшим в лице священномонаха, старца и чудотворца, образ человека, *ни в единый миг* своей жизни не имеющего в себе, ни даже рядом с собою, Живого Христа - Альфу и Омегу христианской жизни. Весь путь монашеский есть "сокровенное делание"... Это - покаянное очищение ума и сердца, то есть глубины духа своего от гнездящихся страстей. Монах умерщвляет свою самость и гордость (обет послушания), умерщвляет пристрастие ко всему материальному (обет нестяжания) и умерщвляет чувственное (обет безбрачия). Все в монашеской жизни исходит из внутренней брани. У Толстого, не имеющего духовного опыта, *стержня смешиваются мысли...* Внешнее падение для монаха не есть *срыв всего*, как очень наивно думает Толстой. Внешнее падение есть только великое несчастье монаха, ушиб его, рана, а вместе с тем - явное для него указание, что он недостаточно предохранял, очищал, защищал свое "внутреннее" - то, что уже не его, а Божье, и что он взялся хранить, как Божье, предав себя Богу... Главная борьба монаха и начало всех его как побед, так и падений... в самом сердце. Даже не в его мыслях (которые неожиданно и независимо от духовного состояния монаха могут появляться), если только монах их сейчас же отвергает, не соглашается с ними. Падение монаха всегда во "внутреннем соизволении", согласии на грех. В этом - падение, даже если монах внешне и не пал. Внешнее падение есть *окончательное выявление падения внутреннего*. Самым же большим грехом в монашеской жизни считается отчаянье, после падения, то есть как раз то, что Толстой считает будто бы необходимым следствием падения. Отчаяние видит лишь тот, кто не видит покаяния. А не видеть покаяния - это быть омраченным демоническим внушением... Всякий монах знает, что Даровавший покаяние (покаяние пред Господом Иисусом Христом, а не пред собой и не пред человеческой только совестью, как у Толстого) дарует прощение, смывает всякий грех, делает его *не бывшим*. "Нет греха непростительного, кроме греха нераскаянного" - говорит монашеская мудрость. "Омыеши мя и паче снега убелюся". Это еще знал пророк Давид и все предстоящие Живому Богу *опытом* это знали... Бог - Спаситель, и не в отвлеченном догмате только (как все время думает Толстой), а в жизни, в живой жизни души человеческой. Опытные люди знают сладость Божьего спасения и прощения во всех грехах, какими бы ни были они и который бы раз ни повторялись... Необъяснимые несообразности постоянно встречаются у Толстого. Старец во имя послу-

шания отправляет не смирившего своей гордости отца Сергия в пещеру. Затворничество - не наказание, оно есть высший образ монашеской жизни, к которому допускают только монахов, прошедших весь искус общежительского монастыря, то есть духовно зрелых... Духовный арсенал инока Толстой описывает только с двумя целями: во-первых, литературно соблюсти внешний чин монашеской жизни, а во-вторых показать, что основан на обмане... Сколь мало Толстой знал даже внешнюю жизнь Церкви и как мало он счел нужным ознакомиться с ней, хотя бы для своего монашеского рассказа, видно из того, что он смешивает два совершенно разных понятия: монашеский постриг и священническое рукоположение... Все моменты церковной и келейной молитвы представлены в виде скучного и нудного бессодержательного йогического самопринуждения... Молитва для Толстого - "нравственное упражнение", тренировка сознания... Никакое "разведение паров, которые будут работать", или "размахивание колеса" не определяет молитву, но скорее мешает ее определению. Смысл молитвы есть единение с Живым Богом, а это единение с *нашей стороны* непрестанно нарушается, даже если не падением, то забвением о Боге, рассеянием души, увлечением неистинными ценностями, проявлением своего эгоизма, в том или ином виде. А раз хоть как-то нарушается единение с Духом Божьим, значит надо восстанавливать".

"Летом 1891 г. 20 губерний центральной и юго-восточной России постиг полный неурожай и начался голод... Лев Николаевич, на своем особом и независимом пути, всегда бывший в оппозиции к всяким "общим увлечениям", и здесь проявил такое же отношение к помощи голодающим... Когда же оставаться в стороне от голода не представляется уже возможным... как бы оправдывая свое прежнее, оставшееся непонятым сопротивление этому делу, он пишет: "Я занимаюсь распределением блевотины богачей"... Как самим Львом Николаевичем, так и друзьями его, эта общественная работа воспринималась не в простоте бездумности истинного добра... но считалось, что для Льва Николаевича можно было бы обличать общество и государство, *не принимая* материального участия в помощи голодающим... Толстой своим участием "оползал" на "обычный" путь. Он делался "средним" общественником и благотворителем... Насколько иначе Церковь рассматривает мир и относится к людям. Апостол Павел радуется на богатых, *как на утешенных Господом* здесь на земле; так смотрел на богатых и русский народ, до того, как "съел яблоко" и почувствовал, что он

наг. *Змиева зависть* это сделала. Ведь Господь - податель всего, "обильного для насладженья"... Вот этим богатым, может быть лишенным каких-либо других человеческих даров, и подал Господь дар избытка материального. Может быть, они в душе несчастны и бедны, но апостол рад и этой милости Божьей в отношении их. Он увещевает их не уповать на это временное богатство, временную милость Божию к ним, но, через эту временную милость, востекать благодарным сердцем к постижению бессмертных сокровищ и милости Господа, и войдя в *дух этой милости*, источать ее вокруг себя в мир, причисляя и других к излившейся на них милости... Какое гениальное внутреннее разрешение экономических и социальных проблем! Чистота взора, умеющего все истину в свете Божьей всеобъемлющей любви смотреть на все земные вещи и явления, и видеть, прежде всего, *человека*. В отношении бедных (I Тим., 6) тот же умиротворенный и просветленный взгляд... Добро не может служить материальному прибытку, - иначе получается коммерческий расчет (бывший, увы, нередко в истории обращения в христианство язычников и евреев)."

"В философско-социальных и моралистических проповедях почти всегда Толстой высказывает правду одновременно с неправдой. Стремившись к простоте, он почему-то отверг величайшую простоту: апостольскую веру, апостольское созерцание, насквозь овеянное светом только что отошедшего от мира, но не покинувшего землю Царя Христа. Отвергнув апостолов и их мирозозерцание - разве можно было не отвергнуть и Церкви? Толстой отверг Церковь, не за духовную слабость ея священнослужителей, не за ея недолжную, тягостную для ея самой, излишнюю связанность с государством. Не за то или иное *отношение* Церкви к социальным фактам. Даже не за чин ея богослужения... Толстой отверг Церковь исключительно оттого, отчего он отверг и апостолов: за ея веру."

"Толстой был убежден, что люди потому так трудно воспринимают учение о непротивлении злу насилеием, что "боятся потерять свое привилегированное положение". Легко видеть, что это нравственно осуждающее многих людей толкование совсем не характеризует *христианского* отношения к сознательному приятию властей как воли Божьей в этом несовершенном мире. Вера Евангелия не утопична. Слово Божие призывает отдавать "кесарево Кесарю" после того, как Божье отдано Богу. Вл. Соловьев, правильно интерпретируя апостольское мирозозерание, в вопросе отношения к гражданским властям (отвечая одновременно как

социализму, так и толстовству), говорит: "Государство не имеет цели устанавливать на земле рай, оно стремится не допустить на земле ада". Толстой не верил, что есть опасность наступления на земле ада... как и в то, что человек извращен в доброй природе своей с самого зачатия от общего первородного греха... В этом мире Христов дух действует как закваска, не отменяя - до Последнего Суда - никаких форм ветхого мира - ни социальных, ни биологических."

"Толстой не только не признал хотя бы временной необходимости государственного принудительного аппарата, но до конца своих дней не уставая боролся со всякой властью, разлагая и дискредитируя самое основание и смысл ея".

"Иногда кажется, что Толстой говорит, как христианин. Ведь христиане совсем не считают идеальной и окончательной эту форму жизни мира. Отличительная черта истинных христиан есть томление по "новому Небу и новой Земле", на "которых правда живет", томление "по граде Китеже" - в большей или меньшей мере осознаваемая и проявленная вера людей в Небесный Город Иерусалим, где "ворота не буду запираяться днем, а ночи там не будет"... Однако далеко толстовское видение несовершенств мира от этого Богооткровенного света. Узкая антитеологическая мораль, горчайшее осуждение всякого проявления власти, отсутствие видения христианского конца истории и цели человеческой жизни, как *личного* и *мирового* спасения в вечности - все делает религиозно бессодержательным и то верное, что говорил Толстой о зле и лицемерии христианского общества."

"После царевубийства 1 марта мысль и чувства Льва Николаевича обратились всецело и только в сторону возможной казни царевубийц. Письмо Толстого интересно нам сейчас не по основному своему содержанию, призыву помиловать убийц Императора-Отца, дать им денег, услать в Америку, сколь по отсутствию убеждения в Толстом, что обязанности Царя, как верховного правителя России, заключают в себе ответственность перед Богом... Единственное нравственное *оправдание*, которое могло коснуться царевубийц - это смерть от того меча, который они несправедливо подняли и в чем раскаяться не хотели. Толстой хотел лишить их последнего нравственного оправдания - страдания за свои убеждения... Власти не только не могли помиловать преступников, не раскаивающихся и готовых на бесчисленные новые убийства, но власти согрешили бы перед Богом..., наградив убийц деньгами и устроив их благодушную жизнь в Америке. То, что писал Тол-

стой, было просто вне реальности..., реальный же шум из этого создавался, и расшатывалась власть, которую надо было христианину сохранять и беречь."

"Душа Толстого сильно притянула к себе душу русской интеллигенции не только своим художественным талантом, но и своим этическим максимализмом. Отрекаясь от всех условностей и многих ценностей мира, которым русский человек никогда не придавал решающего значения в жизни, Толстой *взывал к правде*, которую любит русский человек даже на всех ступенях своего падения. И Толстой часто высказывал эту правду жизни своим художественно-правдивым голосом. Но отошедший от Церкви русский человек не видел, что Толстой несправедливо похищал огонь духовного религиозного разума своей художественной "душевной" интуицией. За исключением единиц, русское общество не осознавало этого и не замечало лжепророческих признаков в его пророческом вдохновении. Религиозная неправда утверждалась его удивительной художественной правдой."

"На муки духовного голода в русском народе Толстой ответил переводами Мопассана, Марка Аврелия, Конфуция, Канта, размышлениями над Евангелием левопротестантских американцев-рационалистов, своим собственным "изложением" Слова Божьего. Откинув как барскую затею все евангельские слова автора нового "материалистического" евангелия, Ленин верно почувствовал в нравственных обличениях Толстого страшную, нужную ему разрушающую силу. Правда Толстого взрывала мир, старое мирозерцание православной христианской России. Не грехи русского народа она ампутировала, но самую Россию в ее святине народной. Не грехи мира, но весь мир, во всем его строе и порядке... Именно это нужно было Ленину."

Для духа отречения, владевшего Толстым, характерно было некое духовно-нигилистическое отношение к реальности, прямо противоположащее христианскому аскетизму. С точки зрения утилитаристического ленинизма несовершенство Толстого состояло в том, что он не боролся с правительством через создание "революционной организации". "Но именно благодаря своей обособленной критике всех и вся (а в том числе и самих организующихся революционеров), Толстой смог остаться свободным в России и сотворить наиболее удобную всю свою идеологическую работу по разложению русской государственности и подрыву православной веры. Сила "мягкотелых" писем Толстого к императорам и министрам была разрушительнее многих революционных пироксилинов и динамитов."

Очень показательны в этом отношении социально-религиозные сочинения писателя, например "Царство Божие внутри вас", в котором он говорит "сперва о христианстве и воинской повинности, далее о непротивлении и причинах непонимания христианства людьми "верующими" и людьми "научными", потом снова говорит о войне и о величайшем зле - общей воинской повинности, о неизбежности принятия учения "о непротивлении злу насилеиом"... Вывод книги: все зло нашей жизни - в существующем государственном устройстве, в уничтожении его - благо..."

"Толстой, отрицающий всякое государственное устройство, составляет "единый фронт" с современными крайними шовинистами и обоготворителями государства. Как толстовцы, так и современные язычествующие шовинисты, отрицают Ветхий Завет, в Евангелии же видят лишь некий "морально-философический" элемент, без веры в Боговоплощение и Воскресение Христово... "Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей", - говорит Спаситель таким саддукеям."

Все опасные и двусмысленные выводы толстовских концепций вытекают из буквального, поверхностного толкования Слова Божия. У автора "В чем моя вера" не духовное, а конечно, "душевное", "плотское" понимание слов "зло", "противление", "сила". "Внешнее противление внешнему проявлению внутреннего зла совсем не предполагает непременно злого состояния духа сопротивляющегося. Можно применить и внешнюю силу, совершенно без зла; наоборот, по чувству любви, жертвенности, действительного, "практического" жизненного добра, столь ценимого самим Толстым. Поэтому учение Спасителя о непротивлении злу не может быть названо в собственном смысле заповедью, требованием объективным, она есть заповедь блаженства, и может выразиться другими, уже не встречающимися перетолковывания словами: "Не будь побежден злом, но побеждай зло добром".

"Толстой превратил живую, теплую, очень жизненную и необходимую, несущую вечную жизнь мысль в обмирщенную и, в сущности, вульгарную доктрину "мира сего" - законнический императив для человечества."

"Толстой признает истинное христианство только в сектах и ересях, даже не в одной какой-либо определенной ереси, но в ересях вообще. Он не только отрицает христианство в Церкви, но утверждает, что христианская Церковь есть самое враждебное христианству учреждение, и что никто так много зла не делает людям, как Церковь... Православный Символ Веры Толстой на-

зывает "резюме споров, происходивших на соборе", полагая, что каждому следует выбрать между ним и Нагорной проповедью"... Однако все положения Символа Веры подтверждаются бесчисленными параллельными местами из Нового Завета, а Нагорную проповедь, вопреки убеждению яснополянского гуру, читают в храме 13 раз в году, и множество раз в дни, посвященные памяти преподобных, на молебнах во время безветрия, об умирении и соединении православной веры, за творящих милостыню и на "всякое прошение".

Итак, Лев Николаевич " не считал для себя нужным проверять даже такие свои существенные утверждения и свидетельства против Церкви. Вспоминается Откровение, глава 12, ст. 10: "Клеветник братьев наших, клеветующий на них пред Богом нашим день и ночь."

Здесь уже явственно проступает не только отступление от христианства, но и антихристианство Толстого. С "неумолимой резкостью он устраняет все глубинное и возвышенное содержание таинств и обрядов, все смысловое и эстетическое в искусстве, все духовное, сверхличное в строении общества, государства, нации": мировоззренческие выкладки подкрепляются при этом ловким художественным приемом. Крещение для него - "купание в воде", причастие - просо съедание кусочка хлеба с вином; выход священника из Царских Врат со Святою Чашею он описывает так: "Взяв в руки золотую чашку, священник вышел с нею в средние двери и пригласил желающих поестъ тела и крови Бога, находившихся в чашке" (Воскресение, ч. 11 гл. 39). Как гениально-просты эти способы устранения мистической стороны таинств. Вставлен звук в слово "чаша", употреблено слово "поестъ", и, смотришь, ум читателя уже стилизован так, что перестает видеть значительность и бесконечную содержательность Приобщения Святых Тайн, непрерываемо данную в опыте всякому религиозному человеку; налицо остается только плоская действительность, лишенная глубины".

"Толстой отрицал все правительства и власти в мире, полагая всякую власть "не от Бога". Он считал, что "без войска, без полиции, без судов" люди заживут мирно и счастливо. Однако вряд ли можно создать что-либо более далекое от Евангелия (и от реальности - А.Р.), нежели идея вечного благоденствия народов среди этого порядка мира, т.е. среди людей, в огромной массе своей совершенно нераскаянных, исполненных зависти, злобы и материальных амбиций."

И без того непростую духовную и политическую ситуацию России рубежа веков постоянно усложняло и обостряло банальное незнание русским "образованным обществом" своей собственной религиозной традиции. Вопиющие примеры подобного невежества демонстрируют нам и Лев Николаевич, и даже супруга его, Софья Андреевна Толстая, всегда подчеркнута православная.

Л.Н. полагает, что слова "Миром Господом Богу помолимся" (Война и мир, т.Ш, ч. 1) означают "все, все вместе". Между тем, это начальные слова "мирной" ектении, указывающие необходимость умиротворения, утишения страстей в час молитвы. Софья Андреевна, образованная, воспитавшая 9 человек детей и владеющая иностранными языками, не осведомлена, что "одесную" есть по правую руку, "дароносима" означает "носимого на копьях", а "чинми" - чинами (ангельскими); при этом она сетует на "непонятность" службы.

В подобных условиях, по убеждению о. Иоанна - "отлучение Толстого было страшным предупреждением - Божьим - России"...

"Праведное отлучение от Церкви всегда значительно, не в идейном только смысле, а метафизическом. Конечная цель церковного отлучения - спасение духа человеческого, ближайшая цель - смирение души чрез отъятие благословения на ея земную жизнь... Великая тайна скрыта не только в благословляющих, но и в отвергающих словах Церкви". Этого совершенно не понимал Толстой, о чем свидетельствовал его ответ на определение Синода, которое яснополянский старец полагал незаконным, неосновательным, лживым, "нехорошим" и толковал в свойственном для него кощунственно-прагматическом духе.

Мы знаем, что ценность всякого деяния определяется по плодам его. Судьба человека и смерть его подчас выразительней всего иного свидетельствуют о тех идеях, которые он оставляет миру. "Бегство Толстого из Ясной Поляны, за несколько дней до смерти, было символическим раскрытием и завершением всей его жизни."

"Знаменательна символика этого Ухода". Толстой ушел всецело и по существу. Его приход никак не был приходом к чему-нибудь. Это был уход никуда не ведущий, никуда не приведший... Он только ушел."

"Станция Астапово, где он так неожиданно *остался*, была символом того, что он остался одиноким и непришедшим. И покинутым среди мирового внимания, любопытно устремленного на его последние минуты."

"Говорят, пред кончиной человек видит, в мановение ока, всю

свою жизнь, со всеми ее грехами и ошибками. Она как бы проносятся вне времени пред его духовным взором. Такое видение всей внутренней жизни мог испытать Толстой от 27 октября до 7 ноября 1910 года."

"В ночь на 27 - всю ночь видит дурные сны (Запись Дневника). В ночь на 28 свершается мучительная явь... Жена в его кабинете что-то перелистывает... Он это слышит: "Не знаю почему, это вызвало во мне неудержимое отвращение, возмущение. Хотел заснуть, не могу, поворочался около часу и сел. Входит С.А., спрашивает о здоровье. Отвращение и возмущение растет... Не могу лежать и вдруг принимаю окончательное решение уехать... Я дрожу при мысли, что она услышит... Я дрожу, ожидая погони..." (Из Дневника).

Толстой сначала поехал в Оптину. Он готов был здесь остаться, только бы не заставляли ходить в церковь и креститься. Потом решил ехать дальше. Были планы - в Болгарию или на Кавказ...

"Дрожащего, лихорадящего, куда-то стремящегося и никуда в сущности не едущего, его вывели под руки из душевного, людьми наполненного вагона. И повели в чужую комнату ... И пролежал несколько дней в жару, вскакивая и торопясь куда-то уйти, бежать ... метался, страдал, задыхался, раздражался ... видел какие-то несуществующие лица ... Жену к нему пустили только в минуты его последней агонии. Дочь просила ее ничем не выдавать своего присутствия. Она села на стульчик около хрипящего его тела, беспомощно шептала слова любви, и - единственная из всех, окружавших Толстого за эти дни - крестила его."

* * *

Сегодня, когда для нас особенно важно не впасть в ярость, страсть губительную прежде всего для тех, кем она овладевает, но и знать причины постигших нас бедствий, мы должны понимать, что Толстой, богоборение, русская революция и русская интеллигенция - не случайное объединение, а устойчивый и цепкий синтез. Поэтому - как писал о. Иоанн - "прошлое надо зарывать как труп - в землю - покаяния и богоблагодарения. Иначе оно будет смердеть. Добро смердит тщеславием, зло - соблазном и гибелью. Умервщенный покаянием, сгнивший в душе грех, делается удобрением небесных зерен."

Материал подготовлен А.Р.



ФИЛОСОФИЯ КОНТР-КУЛЬТУРЫ

и л и

Антология западной рок-поэзии**Bob DYLAN at Budokan**

30 лет существует в мире рок-музыки это имя, с которым связано так много достижений, имя, открывшее саму эпоху, имя того, кто остался самим собой - и сделал это с легкостью. Невзыскательный голос, хрипловатое бормотание, небрежная дикция, лень в интонации, мощнейшие тексты, отсутствие музыкальных наворотов и абсолютная естественность - составляют индивидуальность Дилана и то, чему он не изменяет. Боб Дилан подарил миру, можно сказать, эталонный образец жизни в роке.

В реальности земного бытия Дилана мы имели счастье убедиться в 1985 году, когда вездесущий Евгений Евтушенко привез на фестиваль и показал изумленным советским писателям (осталось загадкой - почему именно им?) заморского "брата". "Брат" пребывал в состоянии, не адекватном аудитории, спел скучным голосом про то, что знает ветер, и не спеша побрел куда-то вглубь гоулос. Но этого оказалось более чем достаточно - Боб Дилан был похож на человека, и весь его облик согласовывался с тем, что он пел. Немало!

В 60-х Дилан начинал как бард - и достиг успеха. В 1965-ом любимец американских студентов спел "Ферму Мэгги" на Нью-портском фольк-фестивале в сопровождении электрогитары и блюз-бэнда. Тамошние ценители, считавшие рок-н-ролл явлением поверхностным и примитивным, не имеющим ничего общего с поэзией, были ошеломлены, громко негодовали - и не поняли, что явились свидетелями начала крупнейшего со времени Элвиса Пресли переворота в музыке. Не прошло и года как литературные приемы Дилана восприняли многие ведущие музыканты. Горизонты расширились. Заслуга принадлежала Дилану - именно он ввел в рок глубокий текст. Незатейливые песенки существовали всегда, провиденциальность обретается внезапно - чаемая заглубленность выделила рок-музыку из стихии молодежной субкультуры и превратила в явление контр-культуры. Дилан нарушил представление о том, что допустимо включать в текст, даже если речь шла просто о любви. Рок-н-ролл перестал быть только шумной и разудалой "музыкой для ног" (хотя, на наш взгляд, и в

этом ряду не сыскать равных, ибо из жанра и стиля он вырвался в эпоху). Дилан придал ему смысл и направленность.

Даже выбор прозвища стал неслучайным жестом - псевдоним указывал на корни, коих безусловно следовало держаться. И сцепка проходила в иной плоскости, совсем не в тех поверхностных пластах, изученных и благополучно прирученных академической, а там и массовой аудиториями... Для американской бунтующей части публики имя Дилана Томаса звучало и аллюзии прочитывались.

Боб Дилан по сию пору пользуется безусловным авторитетом в роке. Он прошел все мыслимые ступени роста, избежав звездной болезни, охотно подыгрывал товарищам по ремеслу, от Леннона до никому неизвестных ребят, и оказал влияние, громадное, формообразующее влияние и на тамошних и на отечественных музыкантов. Не в упрек будет сказано, зачинатели русского рока обильно и плодотворно слушали и переводили его вещи. Дилана поют и играют многие - живая классика - и это не звучит чудовищным диссонансом, как в случае с песнями Битлз. Дилан избежал коварных искушений популярности - не уморил себя наркотиками и не выступал против них, не впадал в сектанство и не сделался адептом восточного мистицизма, воздержался от душевных объятий психоделики и иссушающего авангарда. Всего лишь подручными средствами расширял свое и наше сознание, выжил после автокатастрофы, остался безразличен к славе. В его вещах немыслима аффектация и предсмертный хрип раненого зверя - ибо он проторил срединный путь и показал возможности такового.

Переводы, представленные здесь, сделаны Д.Брайсхет с двойного альбома "Bob Dylan at Budokan". Это песни разных лет, известные и популярные хиты, спетые им на концерте в 1978 г.

Д.Брайсхет и А.Яковлев

*Боб ДИЛАН***МИСТЕР ТАМБУРИН**

Эй, мистер Тамбурин, сыграй для меня
Я не хочу спать и никуда не спешу
Эй, мистер Тамбурин, сыграй для меня
Звонким шумным утром я отправлюсь вслед за тобой

И хотя мне известно, что вечерние замки обратились в пыль
Ускользящую сквозь пальцы
Оставь меня здесь незрячим, но и не спящим
Скука веселит, я заклею с головы до пят
Мне некого ждать
И древняя пустая улица слишком мертва для воображения

Возьми меня в путешествие на твоём корабле
Чувства обострены, руки устали брать
Слишком много пальцев, дабы шагнуть, жду лишь пятки ботинка
Чтобы скитаться
Готов шагать куда угодно, готов исчезнуть
В марше, осени танцем мой путь
Я обещаю покорность

И хотя ты слышишь смеющихся, резвящихся, раскачивающихся
помешанных на солнце
Это ни для кого не опасно, это просто спасение бегством
И кроме неба преграды нет
Если смутные шорохи рифм
Льнут к твоему тамбурину, знай, грубый шут позади
Тень не стоит внимания, ты
Видишь, она неотступна

Забери меня, заплутавшего в дымных кольцах сознания
К подножию мглистых руин, вслед за мерзлыми листьями
Вслед за деревьями, опоенными страхом, к берегу
Прочь от спиралей безудержной скорби
Да, кружиться под небом в алмазах, так, чтоб рука оставалась
свободной
Тенью ложиться у моря и пирамид из песка

Схоронив свое прошлое, память о нем в волнах
Позволь мне забыть о сегодня до завтра

1964

УКРЫТИЕ ОТ ГРОЗЫ

Все это из другой жизни
Полной крови и трудов
Темнота тогда слыла благом
А дороги были грязны
Я пришел из дикой страны
Лишенный образа и подобия
"Входи", сказала она, "Укрою
Тебя от грозы"

И если бы снова выпал тот путь
Будь покоен
Я сделал бы все для нее
Вот мое слово
В мире стальных глаз смерти и бойца
Что сражается ради тепла
"Входи, сказала она, вот
Приют от дождя"

Ни слова не было сказано нами
Тревога ушла
Этот миг
Не мог иметь разрешенья
Вообрази себе место
Где тепло и покойно
"Входи, сказала она, тебе нужен
приют от грозы"

Пьяный от голода
Пуганный окриком
Одуревший от боли бродяга
Потерявший след
Охотился как крокодил
Застигнутый в посевах
"Входи, сказала она, я тебя дам
Приют от дождя"

Я резко дернулся -
Она стояла там
С серебрянными браслетами на запястьях
И цветами в волосах
Легкой походкой подошла ко мне
Взяла мой терновый венец
"Входи, сказала, укроешься
От грозы"

Теперь стена между нами
Потеряны нити
Я слишком принял на веру
Невозвратимое жалит не в меру
Чтобы помнить, как все начиналось
Длинным и давним утром
"Входи, сказала она, вот
Кров от дождя"

Да, бьет копытом шериф
Проповедник шустр на подъем
Но значенье имеет
Лишь смерть
Одноглазая тварь
Дует в пустой рожок
"Входи, сказала она, вот
Укрытие от дождя"

Мне знакомы вопли рожденных младенцев
Их цвет - небеса на заре
Эй, беззубый старик
На мели без любви
Не пойму, ты о чем - о былом
Где надежды и песни твои
"Войди, говорила она, найдешь здесь
Приют дождя"

В деревушке на вершине холма
Метали жребий на мои лохмотья
Я ждал исхода
И они дали мне яда

Я говорил - невиновен
И мне отплатили презрением
"Входи, сказала она, переждем
Непогоду"

И вот я живу в ином краю
Но готов шагнуть за черту
Красота, увы, подобна клинку
Когда-нибудь я ее обрету
Если только смогу повернуть часы вспять
К временам, когда родился Господь и она родилась
"Входи, сказала она, я дам тебе
Приют от дождя"

1974

ЛЮБОВЬ МИНУС О / БЕЗ ПРЕДЕЛА

Моя любовь, ее речь тиха
Без обольщений и гнева
Она не должна подтверждать свою верность
И все же она права - как лед, как огонь
Люди несут розы
Длят часы обещаний
Моя любовь, она смеется подобно цветам
И влюбленным ее не купить

Возле лавок и остановок
Народ судачит о хлебе насущном
Пялится в книги, долдонит цитаты
Оформляет выводы на стене
Иные толкут о грядущем
Моя любовь, у нее вкрадчивая речь
Она знает, нет удачи, похожей на провал
И безрыбье - совсем не улов

Плащ и кинжал дразнят
Мадамы зажигают свечи
В церемониях наездников
Даже пешка должна иметь зубы
Спичечные колоссы
Валят своих

Моя любовь глядит сквозь пальцы, она не суетится
Она слишком много знает, чтобы возражать или судить

Полночью поскрипывает мост
Слоняется деревенский врач
Племянницы банкиров в поисках совершенства
Уповают на дары мудрых мужчин
Молотит ветер
Ночь нагоняет холод и дождь
Моя любовь, она как ворон
В моем окне, с перебитым крылом

1965

БАЛЛАДА СЛАБОГО ЧЕЛОВЕКА

Ты вошел в комнату
С карандашом в руке
Ты увидел голого
И спросил: "Кто этот человек?"
Ты изрядно потрудился
Но так и не понял
Что говорить
Когда вернешься домой

Ибо здесь нечто происходит
Но что это, ты не знаешь
Не так ли, мистер Джонс?

Ты поднимаешь голову
И вопрошаешь: "Это где это?"
И некто указывает и говорит
"Это его"
И ты говоришь: "Что мое?"
И некто другой говорит: "Где что?"
И ты говоришь: "Господи,
Один ли я здесь?"

Ибо что-то происходит здесь
Но что это, ты не знаешь
Не так ли, мистер Джонс?

Ты подаешь билет
Идешь глазеть на лошадку
Что немедленно рулит к тебе
Едва слышав речь
говорит: "Каково
такому уроду?"
И ты говоришь: "Невозможно"
Пока она впаривает тебе деньги

У тебя достаточно связей
Среди лесорубов
Чтобы нарвать улик
Если некто будоражит воображение
Но все растеряли почтение
Как бы там ни было, они уже поджидают тебя
Чтобы вручить чек
На вычеты в пользу благотворительности

Ты потерялся среди профессоров
Они одобрили твои взгляды
С великими законодателями ты
Обсудил прокаженных и проходимцев
Ты случился из-за
Книжек Скотта Фицджеральда
Ты прекрасно читаем
Что отлично известно

Так вот, шпагоглотатель, он подходит к тебе
Преклоняет колени
Крестится
Щелкает каблуками
И без дальнейших промедлений
Спрашивает тебя, как оно
И говорит: "Вот тебе твоя глотка
Спасибо, что одолжил"

Теперь ты видишь одноглазого карлу
Орущего слово "СЕЙЧАС"
И ты говоришь: "Для чего?"
И он говорит: "Как?"
И ты говоришь: "Что значит?"

И он орет вслед: "Ты корова
Дай молочка
А лучше гони до хаты"

Вот ты бредешь в комнату
Как верблюд и тут ты хмуришься
Кладешь глаза в карман
И нос на землю
Вот бы иметь закон
Против тебя, ходящего кругами
Тебя стоило мастерить
С учетом наушников

Ибо что-то происходит здесь
Но что это, ты не знаешь
Не так ли, мистер Джонс?

1965

НЕ РАЗДУМЫВАЙ, ВСЕ ОТЛИЧНО

Нет смысла сидеть и гадать, почему, детка
Неважно, во всяком случае
И без пользы сидеть и гадать, почему, детка
Если ты до сих пор не знаешь
Когда твой петух кричит на пороге рассвета
Взгляни в окно - я ухожу
Ты причина тому, что я отчаливаю
Не раздумывай, все отлично

Нет смысла включать свет, детка
Такого света я не знавал
Нет смысла жечь свет, детка
Я на теневой стороне дороги
Пока надеюсь, что у тебя найдется нечто - сделать или сказать
Попробовать или заставить меня передумать или остаться
Мы никогда не усердствовали слишком, во всяком случае
разговаривая

Так что не ломай голову, все отлично

Нет смысла талдычить мое имя, деточка
Ты ведь прежде не баловалась этим

Нет толку в звуке моего имени, девочка
Я не слышу тебя
Думаю и гадаю день деньской в пути
Однажды полюбил женщину, можно сказать, дитя
Вручил ей сердце, а она захотела душу
Но не терзайся слишком уж, все отлично

Тащусь по пустынной дороге, деточка
Куда и сам не скажу
"До свидания" слишком роскошное слово, девочка
Так что говорю "прощай"
И не подумаю, будто ты упрекнешь меня в черствости
Ты могла бы устроить получше, но мне без разницы
Ты весьма мило транжирила мое бесценное время
Но не печалься, все отлично

1963

ХУТОР МЭГГИ

Мне надоело ходить на хутор Мэгги
Нет, хватит ходить на хутор Мэгги
Вот, я просыпаюсь утром
Складываю руки и взываю к дождю
Башка трещит от мыслей
Они сводят меня с ума
Стыд, как она заставляет меня драить пол
Я туда не ходок

Я не пойду горбаться на брата Мэгги
Нет, надоело гнуть спину
Он, понимаешь, вручает тебе пять центов
Он щедр - еще десять центов
Скалится и вопрошает
Как ты провел время
И растворяется, стоит только шваркнуть дверью
Достал, не пойду

Надоело работать на ее папашу
Поработал и будет
Тычет своей сигарой
Двинуть бы ему хорошенько

Окно его спальни
Не из кирпичей, однако
И вроде национальная гвардия не приставлена к двери
Все, я не стану пахать на папашу Мэгги

Поработал я на мамашу Мэгги
Поработал я на мамашу
Уж она говорит с прислугой -
О человеке, о Боге и о законе
Дураку ясно
Мозгов у нее не богаче папаши
Ей 68, а говорит - 24
Я не пойду на мамашу работать

Все, я не пойду на ферму Мэгги
Нет, я не пойду на ферму
Что ж, попытаю судьбу
И буду таким как есть
Всякий хочет
Что б ты был как он
Ты пашешь, а они поют, и мне надоело
Я не пойду на ферму Мэгги

1965

ЕЩЕ ОДНУ ЧАШЕЧКУ КОФЕ (ДОЛИНА ВНИЗУ)

Твое сладкое дыхание
Глаза как драгоценные камни в небесах
Стройная спина, темные волосы
На подушке, где лежишь
Но я не чувствую ни приязни
Ни благодарности, ни любви
Твоя верность не для меня
Но для звезд где-то там

Еще чашку кофе и в путь
Еще чашку кофе перед тем
Как спуститься в долину

Твой папочка, он изгой
Скиталец по призванию

Он обучит тебя, как искать, выбирать
И как отшивать парня
Обозревает свое королевство
Так что чужак не проскочет
Его голос дребезжит, когда он
Требует смены блюд

Еще чашку кофе и в путь
Еще чашку кофе перед тем
Как спуститься в долину

Твоя сестра глядит в будущее
Как твоя мамочка и как ты сама
Вас не учили писать и читать
Нет книг в твоём шкафу
Удовольствия беспредельны
Твой голос подобен птичке в лугах
Но сердце твое - океан
Загадочный, мрачный и жуткий

Еще чашку кофе и в путь
Еще чашку кофе перед тем
Как спуститься в долину

1975

КАК ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ

В незапамятные времена ты одевалась красиво
В расцвете лет бросала нищим монеты, не ты ли?
Люди зывали: "Берегись разряженных, ибо споткнешься"
Ты думала, они дурят тебя и рады
Ты привыкла смеяться над
Всяким из ряда
Теперь ты не болтаешь громко
Теперь ты не глядишь гордо
Прося подавание на пропитание
Каково
Каково
Не иметь дома
Быть совершенно чужим

Как перекаати-поле?

Ты ходила в лучшую школу, мисс Одиночество
Но ты знаешь, что просто прибавила сочности
Не учили тебя жить на улице
А теперь прорубила, умница
Ты ручалась, что не рискнешь, опасно
С темным бродягой, но теперь тебе ясно
Он не торговец алиби, далее
Когда пялишься в пустоту зрачков
И спрашиваешь, не прочь ли в долю войти бочком

Не глядишь на проделки клоунов и факиров
Когда лезут из кожи, показывая свои номера
Ты так и не поняла, что не будет добра
Если позволить людям лепить оплеухи зазря
Тебе по душе гарцевать на своей вороной со своим дипломатом
С вечным сиамским котом на плече
Не тяжело ли будет узнать, что
В действительности он не бывал там, где
После того как возьмет все, что сможет

Принцессы наверху пирамиды и прочие милые чудища
Они выпивают, полагая, что получают то еще
Обменивая все мыслимые дары и сокровища
Но лучше снять перстенок с бриллиантом, лучше его заложить
этому, с бантом

Прежде тебя забавлял
Наполеон в рванье и слова, что он ронял
Ступай, он зовет тебя, ты не смеешь перечить
Невидимка теперь, без секретов, чтобы скрывать

Каково

Каково

Стоять на своем

Без тропы, что выводит к дому

Абсолютному чужаку

Перекаати-полю?

ТВОЯ ЛЮБОВЬ - ТЩЕТА?

Ты меня любишь или блюдешь хорошую мину?
Недоделанный тип или впрямь бежишь от греха?
Я сгорел еще прежде и расклад мне известен
Так что перебежешься без моего нитья
Рассчитывать на тебя или вся эта любовь пуста?

Ты столь аскетична, где уж тут углядеть, что мне нужна тишина?
Видишь, сию в темноте, зачем же ломиться сюда?
Ты изучила мой мир, изучила мой тип
Или я должен жевать слова
Ты позволишь мне быть собой, или к чему вся эта любовь? Тщета?

Бывал в горах, бывал на ветру
Бывал счастлив и не
С королями обедал, совали крылья и другую муру
Никогда не страдал от восторга, уберется вполне

Отлично, испробую, брошусь в любовь с головой
Если я идиот, ты получишь ночь, и утро тоже твое
Умеешь стряпать и шить, поливать цветы
Ты понимаешь, когда болит?
Ты хочешь рискнуть наконец, или твоя любовь на черта?

1978

ОТВЕТ УНОСИТ ВЕТЕР

Сколько протопать дорог
Пока назовут человеком
Сколько морей пересечь белой голубке
Чтобы уснуть на песке
Сколько свистеть пушечным ядрам
Пока их запретят
Ответ, дружок, уносит по ветру
Ответ уносит по ветру

Сколько глядеть вверх
Чтобы узреть небо
И сколько ушей довольно иметь

Чтобы слышать крик
Сколько смертей пережить
Пока узнаешь про смерть
Ответ, мой друг, уносит ветер
Ответ уносит ветер

Сколько стоять горе
Чтобы умыться волной
Сколько лет застави иным людям
Чтобы узнать свободу
Сколько вертеть головой
Прикидывая, будто ты слеп
Ответ, приятель, полощется по ветру
Ответ полощется ветром

1962

ПРЯМО КАК ВЗРОСЛАЯ

Никто не скорбит
Если к ночи я мок под дождем
Всякий знает
Дитя обновило одежды
Теперь наблюдаю, как ленты и банты
Никнут от дряни
Она берет прямо как женщина, да, она делает это
Занимаясь любовью как женщина, да, это так
Она хочет как взрослая
Но ломается как несмышленная детка

Королева Мария мне друг
Да, я верю увидимся снова
Следовало бы утаить
Что Дитя святое
Пока не уверится, что не лучше прочих
С амфитаминном, колесами и травой
Понятлива как женщина, да, она такая
Занимается любовью как женщина, да, она такая
И ей больно как женщине
Но ломается как маленькая девочка

С самого начала шел дождь

А я загибался от жажды
И вот я пришел сюда
Но твой курс разрушителен дважды
И что хуже
Так эта боль внутри
Не могу оставаться здесь
Неужели не ясно
Я не тяну
Да, верно, пора завязать
Когда мы встретимся вновь и
Нас представят
Будь добра, не показывай виду, что знавала меня, когда
Я голодал и это была твоя зона и партия тоже твоя
Ах, выживаешься как взрослая, да, ты
Занимаешься любовью как женщина, да, ты делаешь это
Потом тебе больно, как большой
Но ломаешься ты, как маленькая

1966

О, СЕСТРА

О, сестра, если я готов рухнуть в твои объятия
Не гони меня как чужого
Твой отец не одобрил бы этих действий
И пора осознать
Опасность

О, сестра, разве я не брат тебе
И не достоин снисхождения?
Неужто наше предназначение иное?
Любить и следовать
Его воле

Мы оба росли от колыбели до могилы
Упокоились и воскресли, чтобы
Чудом спастись

О, сестра, когда я у твоего порога
Не затворяй дверей, ты умножишь печаль
Время это океан, но оно истончается к берегу
Ты можешь не увидеть меня

Завтра

1975

ПРОСТОЙ ПОВОРОТ СУДЬБЫ

Они сидели в парке
Едва потемнело вечернее небо
Она взглянула, и колотун
Пробрал его до костей
И сразу тоска
И захотелось тотчас уйти
И проглядеть простой поворот судьбы

Они брели вдоль канала
Слегка смущенные, я хорошо помню
Завернули в странный отель
Горящий неоном
Накатывал жар ночи
Шипящий как товарняк
Неотвратимый словно простой поворот судьбы

Издали доносился визг саксофона
Когда она скользнула в арку
Подобно свету сквозь побежденную тьму
В которой барахтался он
Уронила монеты в кружку
Слепому у ворот
И забыла о простом повороте судьбы

Он продрал глаза в голой комнате
Ее не видать
Сказал себе, что его не колышет
Распахнул окно
Ощутил пустоту внутри
К которой он не имел отношения
Принесенной простым поворотом судьбы

Он вникает в тиканье часов
И фланирует с попугаем из говорящих
Охотится за ней на пирсе
Посреди матросни

Может быть, она снова предпочтет его
Сколько ему ждать
Еще одного простого поворота судьбы

Люди болтают, что это грех
Знать и чувствовать без меры
Я все еще верю - она мой двойник
Но я потерял кольцо
Она родилась весной
А я опоздал и вот
И виной всему судьбы простой поворот

1974

У СТОРОЖЕВОЙ БАШНИ

"Отсюда должен быть выход", малый говорил вору
"Слишком все путано, спасенья не видать
Дельцы, эти пьют мое вино, пахари роют мою землю
Никто из них не ведает, что почем"

"Зачем волноваться", ответил вкрадчиво вор
"Тут полно тех, кто считает жизнь чем угодно, но вовсе не шуткой
Но ты и я, мы плевали, и не в том наш удел
Так что давай не лажать, да и час уже поздний"

У сторожевой башни скучали принцы
Пока приходили и уходили всякие женщины, сновали босые слуги
Неподалеку рычала дикая кошка
Приближались двое всадников, поднимался ветер

1968

Я ХОЧУ ТЕБЯ

Вздыхает позлащенный делец
Зубодробильно ноет унылая фисгармония
Серебряные саксы убеждают - я должен отказаться от тебя
Увечные колокола и выдохшиеся рожки
Гудят мне в лицо с насмешкой
Но не в том смысле будто
Я не был рожден потерять тебя
Я хочу тебя, я хочу тебя

Я хочу тебя, гадкая
Милая, я хочу тебя

Датый политикан чешет
Вдоль улиц, где плачут матери
И спасатели, которые мигом уснули
Они ждут тебя
И я жду их, чтобы прервать
Это мое питание из разбитой чашки
И чтобы они умоляли меня
Отворить тебе ворота
Я хочу тебя...
Нынче все мои отцы, они сгнули
Настоящая любовь, эти перебились без нее
Но все их дочери уложили меня
Потому что я не раздумывал

Так, я вернулся к Королеве Кастратов
И говорил с моей горничной
Она знает, я не боюсь
Смотреть на нее
Она слишком добра
И нет ничего, чтобы она не видала
Она знает, где мне хотелось бы быть
Но это уже не имеет значенья
Я хочу тебя...

И вот твой сын, с его плясками и китайскими церемониями
Поболтал со мной, я взял его флейту
Нет, я не слишком находчив
Не так ли?
Но я сделал это, все же, потому что он лгал
Потому что он доконал тебя
Потому что время на его стороне
И потому что я...
Я хочу тебя, я хочу тебя
Я хочу тебя, гадкая
Милая, я хочу тебя

ВСЕ, ЧТО Я ХОЧУ

Я не ищю состязаться с тобой
Победить, обмануть или помыкать тобой
Упрощать тебя, классифицировать тебя
Отрицать, провоцировать, распинать тебя
Все, что я хочу
Это, детка, быть тебе другом

Нет, я не намерен воевать с тобой
Пугать тебя или притеснять тебя
Тянуть тебя вниз или иссушать тебя
Приковывать тебя или ронять на дно
Все, что я хочу
Это, детка, быть тебе другом

Я не стану препятствовать тебе
Шокировать тебя, потрясать или запирать тебя
Анализировать тебя, категоризировать тебя
Оформлять тебя или рекламировать
Все, что я хочу
Это, детка, быть тебе другом

Я не хочу честного лица с тобой
На перегонки ли в погоню, оставлять следы иль по следу идти
Ни позорить тебя, ни менять тебя
Ни означивать тебя, ни заточать
Все, что я хочу
Это быть тебе другом, детка

Не желаю встречать твою родню
Сообщать тебе скорость или вгонять тебя в штопор
Или возвращать тебя, или препарировать тебя
Или обследовать тебя или ославить
Все, что я хочу
Детка, это быть тебе другом

Я не стану надувать тебя
Брать или трясти или покидать тебя
Мне не требуется, чтобы ты чувствовала как я

Видела как я или была бы как я
Все, что я хочу
Это, детка, быть тебе другом

1964

ВСЕ ОТЛИЧНО, МА (Я ВСЕГО ЛИШЬ ВЫПОТРОШЕН)

Мрак полуночи
Глушит даже серебрянную ложку
Клинок ручной работы, воздушный шар
Застывает луну и солнце

Пониманье, это ты слишком скоро узнаешь
Не требует ни малейших усилий
Очевидные страхи, они подло обманчивы
Отступная на самоубийство отнята
У дармового пирога дурака
Напрасные слова выводит глухой рожок
Подкрепляя постулат
О том, что родившийся без труда
Трудится умирая

Слуга соблазна вылетел в дверь
Ступай следом, обрети себя на войне
Наблюдай шквал жалкого рева
У тебя уже позывы к стону, но иные, чем прежде
Ты усвоишь
Что ты еще один
Среди тех, кто плачет

Так что не бойся, если ты слышишь
Звук, чужеродный для уха
Все отлично, Ма, просто заедает тоска

Как знак победы, знак поражения
Скрытые доводы, великие или малые
Сквозят в глазах тех, которые призывают
Заставить все, намеченное к убийству, пресмыкаться
Пока иные толкуют - не таи ненависти ни к чему вовсе
За исключением ненависти самое

Беспощадные слова сдирают кожу не хуже пуль
Пока человеческие идолы целятся по мишеням
Делая все от детских ружей, которые искрят
До Иисусов телесного цвета, светящихся в темноте

Легко убедиться, не пялясь особенно вдаль
Что не много того
Что действительно свято

Пока проповедники вещают о смертной судьбе
Учителя поучают, будто знания ждут
По всему, разгадка не тут
Но ведь и президент Соединенных Штатов
Порой вынужден
Стоять голым

И хотя путевой график предусматривает ночлег
Это всего лишь людские игры, от которых ты силишься увильнуть
Все отлично, ма, я могу сделать это, нужен разбег

Множа мифы, которые против тебя
Тем, что думаешь, будто ты единственный
Кто дерзнет совершить то, что прежде не свершали
Кто дерзнет выиграть, что прежде не выигрывали
Тем временем снаружи продолжается жизнь
Повсюду

Ты теряешь себя, ты вновь обретаешь
Вдруг обнаруживаешь, что страха нет
Стоишь, покинут, ни души в округе
Когда дребезжащий голос из глубины лет
Испытывает твой дремлющий слух, дабы ты убедился -
Кто-то думает, будто
Они в самом деле тебя застукали

Вопрос вспыхивает в твоих нервах
Хотя ты знаешь, подобающего ответа нет
Освобождающего тебя от повинности
Держать в голове и не забывать
Что ни ему ни ей ни им ни этому
Ты не принадлежишь

Хотя составляют правила умельцы
Для умных и дураков
Я того не имею, ма, согласно чему жить

Им, послушным властям
Которые они не ставят ни в грош
Плюющим на их дела и судьбы
Им нашептывают о тех, что свободны
Удобрят посевы, чтобы они
Не превысили то
Во что вложено

Пока иные крестились из принципа
В соответствии с партийными установками
Общественные клубы вовлекали в маскировку
Отшепенцев они могут спокойно критиковать без лиц
Ничего не говоря, кроме того, кого следует превозносить
И сказать после - Дух почиет на нем, всем - ниц

Пока тот, что поет раскаленным горлом
Полощется в хоре крысиных бегов
Ловчит, чтобы улизнуть от племенных клыков
Не печется о достижении высот
Но тем скорее опустит тебя в дыру
Где он сам

Но я не желаю ни вреда, ни ущерба
Никому из живущих под сводом небесным
Тем не менее, все отлично, ма, пока я не могу им потрафить

Старухи-судьи наблюдают человека по парам
Отработанные по части секса, они рискуют
Пускать в ход ложную добродетель, оскорблять и паяльться
Пока деньги не пахнут, вот дорога
Цинизма - и торит ее пропаганда
Кругом ложь

Пока те защищают то, что видеть не могут
С азартом убийц, безнаказанность
Безвозвратно калечит мозги

Всех, полагающих, что благородная смерть
Не грозит им всерьез
Жизнь порой
Лучше постигать в одиночку

В глазах темно от забытых под завязку кладбищ
Лживые идолы, я источился
Об жалость, что так груба
Гуляю себе взад и вперед, а железо оков
Бьет по ногам, чтобы дробить их в крошево
Говорю все отлично, будет с меня
Что еще у вас есть для показа?

Если бы мысли и сны можно было крутить
Они, вероятно, спешили бы с гильотиной
Но все отлично, ма, это жизнь, и только она

1965

ВЕЧНО МОЛОДЫМ

Может Господь оберегать и хранить тебя вечно
Могут сбываться все твои мечты
Можешь жить ради ближнего
И позволить ближним - ради тебя
Можешь выстроить лестницу до небес
И карабкаться по ступеням
Можешь оставаться вечно молодым
Вечно молодым
Можешь ты оставаться
Молодым вечно

Можешь дорасти до праведности
Можешь дорасти до искренности
Можешь всегда знать истину
И видеть свет вокруг
Можешь хранить стойкость
Прямоту и быть сильным
Можешь оставаться вечно молодым...

Можешь бежать праздности
Можешь всюду поспеть

Можешь устоять
Когда поднимается ветер перемен
Может твое сердце неизбывно наполниться радостью
Может твоя песня быть вечной
Можешь всегда оставаться молодым...

1973

ВРЕМЕНА, ОНИ МЕНЯЮТСЯ

Давайте соберемся в круг, люди
Где бы вы ни скитались
И согласимся, что воды
Прибавилось
И признаем, что вскоре
Промокнем до костей
Если ты дорожишь своим временем
Больше спасения
Тогда отчаливай в плавание
Или камнем пойдешь ко дну
В эти времена, что меняются

Добро пожаловать, писатели и критики
Что пророчествуют пером
Разуйте глаза
Другого раза не будет
И не болтайте до времени
Ведь колесо пока еще вертится
И нет пока того, кто говорит
О предначертанном
Для проигравшего сейчас
Не будет времени отыгаться позже
В эти времена, что меняются

Приходите, сенаторы, конгрессмены
Пожалуйста, следите за звонком
Не толпитесь в дверях
Не блокируйте зал
На всякого, кто ушибется
Найдется тот, кто пригнется
Снаружи бой
И он злится

Еще немного - полетят стекла
И затрещат ваши стены
Во времена, что столь переменчивы

Приходите, мамы и папы
Со всей земли
И не придирайтесь
Если не можете понять
Ваши сыновья и дочки
Вне вашей власти
Ваша старая дорога
Дряхлеет на глазах
И будьте любезны, с этой, новой, сойдите
Она не спасет вас
В эти времена, что меняются

Вот черта, она проведена
Вот проклятие, оно произнесено
Медленный нынче
Там станет быстрым
Как настоящее сейчас
Станет прошедшим
Строй
Быстро редет
И первый теперь
Будет позже последним
В эти времена, что меняются

Вариативные переводы некоторых текстов Дилана, сделанные А.Полонским для еженедельной рубрики "ТЗ" на радиостанции SNC (по четвергам, после пяти, кроме летних каникул), диапазон 230 м.

Еще одну чашечку кофе

Твои сладкие вздохи, пленительный взгляд
И тяжелые волосы ночь тяжелят
Гибкость стана и нежность, уловки твои
Но не чувствую я ни тоски, ни любви
Твоя верность - пространствам, и в этом вся суть
Что ж - еще одну чашечку кофе и в путь
Еще кофе чуть-чуть перед тем как спуститься в долину

Твой любезный папаша - бродяга, изгой
Он себе ищет дела, он вечно другой
Он научит тебя смаковать, выбирать
Отшивать ухажеров, самой себе врать
Все границы его на замке на века
В его царство никто не прорвался пока
В его царстве вся соль - в изобилии блюд
Он доволен собой - раз добавку дают
Что ж, еще одну чашечку кофе, и тут
Смысл прямой есть спуститься в долину

А сестра и мамаша знают все наперед
Эти глупые книги - их никто не прочтет
И сама ты владеешь искусством таким
Мои глупые вирши - минутное, дым
Беспредел развлечений - ну я не могу
Голосок - колоколец на летнем лугу
Только сердце бездонное как океан
Все в нем сумрак и тайна, точка и туман
Ну, пока я не пьян - лучше двину
Еще одну чашечку кофе - в путь
Еще кофе чуть-чуть перед тем, как спуститься в долину

Сестра моя...

Сестра моя, когда я подхожу и прошу у тебя любви
Не смотри на меня, будто мы чужие
Наш Отец не одобрил бы эти страхи твои
Ты должна прорубить
Вся опасность в том
Что мы живы

Сестра моя, брат я тебе или даже совсем не брат
Но с любовью не только на кровных своих глядят
Ответь мне, любезная, разные вещи, что ли
Любить друг друга
И следовать Его воле

Мы бок о бок с тобою прошли путь-дорогу от люльки до смертного ложа
Успокоились, вновь родились, и все то же
Но Господь спас нас всех, и вот это воистину чудо
Не стремись же укрыться, когда я стучусь в твою дверь
Время - море, быть может, у моря есть берег, поверь
Вот я рядом - живой, осязаемый
Есть
Обозначен
А завтра не буду

Простой поворот

Они ворковали в парке
Ночь наплывала всерьез
Она на него взглянула -
До ребер пробрал мороз
Его бросало то в дрожь, то в пот
И он хотел обогнуть
Судьбы простой поворот

Вдоль старых каналов лежал их путь
Стыд жег им чресла, сводил уста
Еще острее обнажила суть
Дешевой гостиницы нагота
Неон наплывал, обозначив вход
Жар ночи сшиб с ног его как товарняк

Как судьбы простой поворот

Визжал саксофон, продувал сквозняк
Они прошли в арку как свет сквозь тьму
Ништяк
Она сказала ему
Слепому с кружкою у ворот
Монетку кинула - и вперед
Что ей судьбы простой поворот

Он продрал глаза - ее рядом нет
Нет так нет ерунда пустяк
Распахнул окно, сорвав шпингалет
И почувствовал, что сквозняк
Но ведь как, в самом деле, он связан с той
Шуткой удачи, мечтой пустой
Так, судьбы поворот простой

Он слушает время, взять хочет свое
С попугаем своим говорящим
Он разыскивает ее
Меж матросов гулящих
Быть может когда-нибудь - задний ход -
Он отыщет ее и она с ним пойдет
Еще один простой поворот

Люди все это зовут грехом
И смеются мне прямо в лицо
Она была моим двойником
А я потерял кольцо
Она родилась весной
А я припозднился, мол, время врет
Если бы знать, что всему виной судьбы простой поворот

От основания сторожевой башни

"Мы найдем дорогу отсюда, мы должны найти эту дорогу
Здесь всякой невнятицы слишком и глупости тоже много
Деляга меж денег и виски, крестьянин меж денег и пашен, -
Сказал преступнику странник - Никто из них нам не страшен."
"Чего заерзал, дружище, - преступник ответил. - Поздно
Есть много людей, уверенных, что жизнь их - штука серьезная
Но наша доля - не общая, наша судьба - мчать прочь
Позволь же нам быть неправыми, тем более уже ночь".

От основания сторожевой башни, пока наблюдали принцы в окошко
Женщины приходили и уходили, слуги босые сновали
У реки в тростниках визжала дикая кошка
Двое скакали вперед и ветер их гнал, завывая

ХРОНИКА

*Сергей ТАШЕВСКИЙ***О ЧУЖИХ МЫСЛЯХ И СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ**

Чужие мысли - вещь столь же наживная, сколь и собственный опыт. То и другое может соседствовать в одной голове, но чаще встречается более простой вариант. Из-за этой злополучной простоты, из-за расхожей антитезы *чужие мысли - своя шкура* за последние лет сто вырисовалась некая социальная граница, граница более чем "классовая", условно говоря - между "интеллигентностью" (именно в кавычках) и абсолютным бескультурьем. На этом фронте было брошено много камней в ту и другую сторону, и, хотя чаще всего эти снаряды падали на весьма обширную "ничейную" (т.е. принадлежащую здравомыслящим людям) территорию, в конце концов "интеллигентность" стала одерживать победу за победой.

Сегодня, наблюдая за сводками этих боевых действий, которые приобретают все более лихой характер, начинаешь наконец понимать, что "фактор собственной шкуры" - вещь действительно довольно ничтожная в сравнении с чужой мыслью. В конце концов, шкуру куда проще залатать, шкура от природы гибкая, а вот чужую мысль надо хранить от ударов и трещин, ибо ее своими силами уже не залатаешь. Чужая мысль требует куда большей одержимости, нежели собственный голод, холод, боль.

Еще лет десять назад существовали кой-какие рамки, заставляющие при употреблении большинства чужих мыслей соблюдать некоторую осторожность и, по крайней мере, пускать в ход собственные мозги. Это было время "кухонных разговоров", и одержимость тоже была кухонная. Теперь одержимость - площадная, и это вовсе не количественная разница, а весьма важная метаморфоза. "Кухня" оказалась умноженной на какой-то безграничный коэффициент наглости, умноженной на толпу, ставшую отныне проводником той или иной "чужой мысли", а человеческий ум - уже и не проводник, а просто исполнительно-оправдательный довесок, клеточка толпы.

Сейчас стало общим местом убеждать, что "изменения в обществе зашли далеко", что "дороги назад нет"... И в самом деле, это действительно так, но почему? Потому что сегодня появилось до смешного, до страшного много людей, вовсе не верящих в собственный опыт, не исходящих из него, но готовых костыль лечь за

вновь появившуюся чужую мысль. Нам говорят, что это - хорошо. Но это плохо.

Весьма плоско, весьма относительно понимаемый "путь назад" (перелистайте любой учебник истории и покажите пример, где это она когда-либо шла "назад"?) означает на самом деле противоречие с излюбленной "чужой мыслью", боязнь рассмотреть ее в контексте опыта, личного и исторического. Плюрализм, столь модное сегодня понятие, вовсе не узаконил взаимную терпимость - а лишь позволил вместо неперемного поворачивания к собеседнику задницей просто закрывать глаза и затыкать уши в фас к нему. Как обычно, к нам приходит не культура - а чужая мысль под названием "культура".

Но что же - опыт? Или в нашей стране (как-то странно стыдно пишутся эти слова; "наша" страна, все реже пишутся, как будто она уже чья-то "их"? Бюрократов, мафии, правительства, КГБ?) - в НАШЕЙ стране, может, ни у кого никакого опыта, никаких собственных чувств и понятий быть не может? Или мы слишком много всего повидали, слишком большую да кровавую кашу заварили, чтобы расхлебывать ее собственной ложкой?

Да все у нас есть, все. Только опыт сам по себе, и сами по себе - "чужие мысли". Здесь все как было, так и осталось, произошла лишь забавная смена позиций: "чужая мысль" идет в поступки, в действия, а опыт сидит на кухне. Чужая мысль пишет лозунги "Долой правительство!", "Долой повышение цен!", а опыт скупает вермишель и табак на черный день, да прячет в кухонный шкаф.

Странно все это.

Вроде бы такие живые мы люди - а вот увлеклись мертвечиной. Политика...

Да Боже мой, когда это кто у нас разбирался в политике? Большевики раз в 17 году однажды - разобрались, и все... Но и нет никакой политики, сплошные чужие мысли. Красивые чужие, уродливые - тоже чужие, даже национальное самосознание, даже национализм распространяются с каким-то импортным ажиотажем, и воспринимаются вроде заморской бациллы, обрстая словечками типа "русский фашизм"...

Все нас тянет жить по-человечески.

Хорошее, в сущности, желание.

Но вот только как еще иначе может жить человек, в какой бы стране и при какой бы власти он ни родился, кроме как по-человечески?

Ж и т ь.



ТЕАТРИК ДЛЯ СУМАСШЕДШИХ

Умма-Гумма

И было ему видение...
Но сказал он, что это чушь...
Из позавчерашнего предания...
И.Б.

1

Не человек себе выбирает жизнь - она выбирает.

Другое дело, есть волевые люди и есть слабохарактерные...

Кортес долгое время властвовал. Обстоятельства полностью были в его руках. Но вряд ли он жаждал своей гибели...

Когда говорят, что человек сам повинен в своих горестях и несчастьях, мне хочется грязно ругаться.

Другое дело, есть волевые люди и есть слабохарактерные.

Судьба выбирает жертву. Для сильного - сильнодействующие средства, для слабого...

2

Для человечества не существует естественного отбора, когда выживает сильнейший.

Бывает, что жизнь бережет слабого.

Идея развития мыслящего существа направлена на самоуничтожение...

Что называть силой? Приспосабливаемость или максимализм веры?

Хамелеон и ядовитый гриб мухомор...

Идея верна силой, когда сильна поддержка...

Несмотря на то, что в Латинской Америке повсеместно распространено христианство, там и поныне властвуют боги древних индейцев. С крестом на шее, они поклоняются Высшему Духу, общаются с ним. А оголтелые миссионеры Европы ищут знакомства с Пийотлем...

Чей дух сильней?..

Существуют национальные черты, которые никому не дано преступить...

Христианин не способен общаться с Латино-Американскими богами, быть Йогом, ему не доступен Будда...

Ни индеец, ни индус, ни китаец не смогут стать христианами...

Испанский священник времен конкистадоров был поражен Вицли-Пуцли в мозг и стал его ярым поклонником.

Выжил, но не спасся.

Он был поражен Вицли-Пуцли в мозг, но не в сердце и перед смертью молил об отпущении грехов...

Другого священника тогда же растерзали перепуганные воины Вицли-Пуцли во время обряда крещения. За что они и были сожжены. Вицли-Пуцли оставил их...

3

Идея верна только там где ей положено быть верной...

Борьба идей бессмысленна. Их пограничные районы незыблемы и не людям менять их.

К примеру, светлые идолы древних славян смотрят глазами иудейских пророков и по сей день.

Дух языческой Руси неискореним...

Когда пал Теночтитлан, пала нация, но не народ, не его дух. Вере индейцев покровительствовала природа.

И Вицли-Пуцли выстоял...

Однажды он вселился в мозг испанского священника, и тот оставил Кортеса в поисках новой веры.

Но сомнения не покидали его...

Миссионер варил священные растения и пил их отвар.

И он видел вокруг себя все.

И все видел насквозь.

Но являлся ему Христос, его Христос...

Он видел все, но только не Вицли-Пуцли. Его преследовало отчаяние.

В конце-концов, он лишился рассудка и умер от истощения, но своей смертью.

В отличие от другого священника, растерзанного воинами Вицли-Пуцли...

4

Жрецы, общаясь с богами, пили отвар священной Лофофоры и до конца дней своих оставались в здравом уме.

Не многим иноземцам удастся подобное.

Пийотль открывает им лишь ужас, скрывая светлое - не позволяет вторгаться в свои владения...

Среди европейцев опиум распространился молниеносно, но никому из них не явился лучезарный Будда.

У-Шу в Европе только вид спорта и т.п....

Отчего внешние атрибуты веры для чужестранцев оказываются губительными?..

Поддавшийся искушению чуждой веры не погибает на поле боя за идею. Он гибнет в результате ее отсутствия, увлеченный и замороженный неведомым...

5

Когда я вижу европейца, остриженного наголо, я задумываюсь над его диагнозом...

Вовсе ни к чему было сжигать сотню ведьм, достаточно было лишить их спорыньи.

Бедные женщины не ведали, что творят. Им бы родиться на пару веков раньше...

И попробуйте убедить меня в том, что они сознательно шли на костер, всю жизнь мечтали об этом и все их поступки были направлены для достижения своей цели...

Меня выводит из себя утверждение, будто каждый человек сам выбирает себе жизнь, кузнец своего счастья...

6

История покорения Латинской Америки поражает силой духа полностью поработанного народа.

Веротерпимость...

Стоит представить чувства мексиканского колдуна, усиленные действием наркотических растений.

Его сдержанность должна быть оскорбительной для христиан...

Невозмутимость уверенного.

И эти люди безропотно стояли в очереди на костер, а их жрецы хладнокровно вырывали сердца у белых людей...

Миссионеры Кортеса, положившие все свои силы для достижения славы и богатства, с крестом в руках, во имя веры, кончали жизнь на жертвенных камнях. Были героями, но жизнь сурово учила их...

Алчность с интересами веры несовместима.

Идея верна только там, где ей положено быть верной.

Борьба идей бессмысленна.

И боги древних индейцев распространили свое влияние и на чужеземцев. Не дав им, при этом, своего покровительства...

Когда я вижу аксалотля, я вспоминаю, что это мексиканское животное... Пример выносливости...

И на чужбине индеец остается верен себе, своим богам, и те не покидают его...

Все же обстоятельства могут оказаться сильнее идеи, но и тогда - безыдейность, тот же фанатизм, гипертрофированная религия, которая на Родине, обретя поддержку у природы, найдет свое Я и расцветет.

Либо человек умрет, задавленный духовной пустотой, проще - скукой, не найдя ни места себе, ни смысла жизни.

Ассимиляция, в первую очередь, и урбанизация в наш век, всячески способствуют этому...

В городах-миллионерах живут одинокие люди, не ведая богов.

А в небольших, изолированных селениях они поклоняются своим давно упраздненным идолам...

7

Величайшая сделка в истории человечества между Монтесумой и Кортесом не состоялась именно в силу своей бессмысленности.

Борьба идей безнадежна.

Не людям менять их пограничные районы.

Но ни один, ни другой так и не поняли этого. История обманула их...

Каждый человек - жертва своей Истории.

8

Но чада искусства - Идея, Вера, Поклонение...

Давным-давно человек, пораженный собственным величием, должен был найти этому объяснение.

И он отделил душу от тела.

С тех пор он лишь орудие в руках могущественных космических сил...

"Ведь невозможно! Что вот это! Создал Я! Кто же тогда?" Всего лишь счастливый избранник, служака у алтаря веры, приговоренный к костру...

Монтесума этого не знал...

Когда индейцы несли в подарок конкистадорам золотые фигурки своих богов, те видели только золото.

Затем европейцы увидели в них произведения искусства.

Но это же боги!

Религия появилась для оправдания сверхъестественных способностей Гения человеческого, объяснения его существования...

9

Священник варил Пийотль, пил его, бредил. Его отпаивали смирившиеся с его существованием индейцы Коатлем, легендарным Коатлем - его голубоватым настоем.

И он возвращался из подвалов своих жутких странствий, подвалов, напоминающих застенки инквизиции, но с неизвестными ловушками гробниц великих греков...

Подвалов, скрывающих, ограничивающих, сковывающих поиски и рвение к осознанию, лишь на доли секунд приотрывающих то истинное, к чему стремился несчастный, умирающий от истощения старик.

Пийотль не шел к нему...

Он смеялся над ним в минуты веселья, манил. Раздвигал и рушил стены его подвалов, делал его зрячим.

Миссионер рыдал в лужах тропического ливня, мокрый от слез и грязи, весь в крови преданного им Христа.

Преданного ли?

Миссионер умирал во имя веры в то, что религия едина! Не от слабости или трусости - ради постижения нового, неизвестного - того же, к чему стремится искусство...

Не помогал голубой настоем Коатля...

С участием смотрели невинные индейцы на его смерть и с ужасом выслушивали о тех муках, что ждали его впереди.

Старик бредил вечным проклятием, вымаливал прощение у Христа, но и в чем-то спорил с ним, перечил...

И однажды, моля спасения у Пийотля, увидел Назаретянина и в обнимку с ним - оба окровавленные и изможденные, старик и молодой - был снят с креста.

Он умер без покаяния.

Он ничего не дал науке, искусству - многое дал истории.

Его жертвой людям был Опыт. Опыт борьбы Идей... Ее бессмысленности...

Религия появилась для оправдания сверхъестественных способностей Гения человеческого, объяснения его существования. И ни к чему менять ее пограничные районы. Опыт миссионера - теорема этой Истины.

Иначе - Абсурд, и жертвы, ему принесенные, - ненужные жертвы...

Ариобий

*Из двух недостоверных вещей ту,
которая дает нам надежду, всегда
надо предпочитать той, которая
нам не дает ее.*

**В третьем выпуске ТВЕРДОГО ЗНАКА
Ч И Т А Й Т Е:**

роман "РОК-Н-РОЛЛ"
программу-эссе "СИТУАЦИЯ ТАВ"
стихи *Алексея Кадацкого*

в рубрике **РАРИТЕТЫ ТВЕРДОГО ЗНАКА**
ШРИ БХАГАВАН РАДЖНЕСИ -
"Дао Джитоку, поэт века, хотел освоить дзен..."

в рубрике **ФИЛОСОФИЯ КОНТР-КУЛЬТУРЫ**
статья *Д.Брайсхет* и *А.Яковлева*
"ДЖИМ МОРРИСОН, ИЛИ
ЕЩЕ ОДНА ПОПЫТКА ОТКРЫТЬ ДВЕРИ"
переводы текстов *Джима Моррисона*

Лучшая группа современного рока

"ФАК'Т"

Слушайте музыку
Алексея Яковлева
покупайте магнитные
альбомы группы
"Фак'т"

Читайте альманах "Киносценарии"

В ближайших номерах:

сценарии киносценаристов Ираклия Квирикадзе, Анатолия Гребнева, Григория Горина и Марка Захарова, Наталии Рязанцевой и др.

Продолжение киноромана Никиты Михалкова и Рустама Ибрагимбекова,

политический детектив Эдуарда Тополя,

"Американские версии" биографии Сталина Андрона Кончаловского и Анатолия Усова "Ближний круг".

Записные книжки Павла Финна, фрагменты из книги об американской актрисе Мэрил Стрип, воспоминания Михаила Казакова, интервью с отечественными и зарубежными кинозвездами, зарубежные сценарии Бергмана, Фасбиндера, Бертолуччи, Крамера, Пазолини, и др.

Рубрика "Новое имя"

"Бизнес в кино" -

"Как хорошо продать хороший сценарий"



Подписано в печать 26.11.92 Формат 60x88/16.
14 печ. л., Тираж 1500 экз. Заказ № 1957
Московская типография № 9 НПО "Книжная палата".
109033, Москва, Волочевская ул., д. 40.